

"СТИХОВ РОССИЙСКИХ МЕХАНИЗМ"*

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ, доктор филологических наук

Выступив с громкими манифестами, ниспровергавшими старое искусство и провозглашавшими новое, футуристы, за исключением В. Маяковского, в поэтической практике редко выражали свои теоретические воззрения. В поэзии В. Хлебникова даже слово "стихи" редкость, разве что Россия у него "похожа на один божественно звучащий стих". В. Лившиц изредка употребляет стиховые термины в сравнительных оборотах: "Сырая площадь, как цезура александрийского стиха"; рифма, как рубенсова жена, "лежит в истоме ожиданья"; возвратиться в горницу, как "в лоно стиха", оставив женские рифмы "сидеть во дворе". А.Н. Асеев сопоставляет рифму с "первым словом младенца". И. Северянин не приемлет "безликих рифм" и, с одной стороны, пропагандирует изысканную рифмовку: Грига-нега-сага-Богаюга-вьюга-дорога-мага-снега-мига ("Рифмодиссо"), с другой, не хочет расставаться с банальными размерами - "готовыми клише" и "убогими рифмами", они – верные друзья: "испытанно-надежные, округло-музыкальные", "размеры-соловьи" ("Поэза о старых размеpax").

^{*} См. Русская речь. 2004. № 5; 2005. № 1.

О стихотворном мастерстве в своей поэзии много размышлял В. Маяковский, как бы отвечая на вопрос, заданный им в статье "Как делать стихи?". В его стихах рассыпано множество замечаний, серьезных и шутливых, о различных компонентах стиховой формы — от ритма до аллитерации: "Строки этой главы, гремите, время ритмом роя!"; "строфы спускаются, рифмами вея"; "Мне ль вычеканивать венчики аллитераций"; "чтоб гекзаметром сменилась лефовца строфа"; "молотобойцев анапестам учит профессор Шенгели". И на передний план выдвигаются рифмы: ими можно плюнуть, пиликать, строгать, хлестать дрянцо, "ладонями рифм" хлопать, "сандалишки рифм" обуть, "люлечные рифмы" нянчить, над рифмами сопеть; нанести их "чуть не стог"; рифмы могут быть чудными, тупыми, корявыми, бывают лычки рифм, колючки рифм, лозунги-рифмы, рифмаогонь, рифмованная рулада; рифмочки, рифмишки, стихи можно зарифмоплесть и т.д. У Маяковского есть несколько поэтических деклараций на темы стихотворства в жанрах послания и диалога. В виде иронических советов редакторам и сочинителям написано стихотворение "О поэтах" (1923) — первым предлагается не любить ямбы, так как в них нельзя запихнуть длинные слова, а вторым — смотреть, чтобы рифмы не сбивались в кучу: чтоб "кровь" к "любовь", "тень" ко "дню", "чтоб шли аккуратненько, одна через одну".

ние "О поэтах" (1923) — первым предлагается не любить ямбы, так как в них нельзя запихнуть длинные слова, а вторым — смотреть, чтобы рифмы не сбивались в кучу: чтоб "кровь" к "любовь", "тень" ко "дню", "чтоб шли аккуратненько, одна через одну".

В "Юбилейном" Маяковский, раздумывая о русской поэзии и о своем месте в ней, беседует с Пушкиным, шутит, что готов "подсюсюкнуть ямбом", "чтоб только быть приятным вам", но убежден, что, живи классик теперь, ему "пришлось бы бросить ямб картавый". Кстати, сам автор пишет это стихотворение ямбами и хореями.

Другой разговор, на этот раз с условным собеседником, почти целиком посвящен "явлению рифмы" ("Разговор с фининспектором о поэзии", 1926). Поэт разъясняет своему оппоненту, в чем сложности рифмования, когда "ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и спряжений". Рифма выступает то как вексель, то как бочка с динамитом, то как оружие: "рифмы, чтоб враз убивали, нацелясь". Свой долг Маяковский видит в борьбе против "всяческой мертвечины" и дает социальную формулу рифмы ("рифма поэта — ласка, и лозунг, и штык, и кнут"), видоизменяя идиому "кнут и пряник". Поэт был не только пропагандистом, но и мастером "небывалых рифм", он "выступил как смелый изобретатель и неутомимый реформатор рифменной техники русского стиха" (Штокмар М.П. Рифма Маяковского. М., 1958. С. 145).

От легковесного, пустопорожнего "стихачества" (намекая на трюкачество) предостерегает Маяковский своих собратьев по перу в "Послании пролетарским поэтам" (1926), призывая их поменьше изумляться и восхищаться "рифмочек парой" и предлагая свой опыт и помощь: "все, что я сделал, все это ваше – рифмы, темы, дикция, бас". И в его последнем произведении — вступлении к поэме "Во весь голос" (1930) возникает образ поэзии — "старого, но грозного оружия". И словно продолжая пушкинское сравнение стихотворца с полководцем, Маяковский принимает парад разных родов войск, проходя "по строчечному фронту", где поэмы — артиллерия, а остроты — кавалерия с отточенными пиками рифм. И звучат ямбы, правда, не 5-стопные, как в "Домике в Коломне", а вольные 5-7-стопные. Так, по всей вероятности, неожиданно для себя самого, поэт-авангардист XX века протягивает руку своему великому предшественнику, подхватывая его эстафету размышлений над собственной стиховой формой.

Одновременно с Маяковским теории стиха уделяет внимание в своей поэзии конструктивист И. Сельвинский, но его больше интересуют не рифмы, а ритм. Так, в повести "Записки поэта" (1926) отмечается, что написана она "пятиударником", скандируются пиррихии, разбираются размеры и звукопись. А один из героев "в четырехстопном ямбе поставил рекорд, дав дипиррихий с четвертым пэаном": "Я человеконенавистник, / А не революционер".

В отличие от Маяковского, М. Цветаева не сочиняла поэтических манифестов, но в своей поэзии не раз писала о стихотворном ремесле, хотя и прибегала к совершенно иным ассоциациям, чем Архангел-тяжелоступ и лефовец-пехотинец, как называла она Владимира Владимировича. Для нее стихи – как драгоценные вина, как сон и вздох, как страны, как тайный свист; "стихи растут, как звезды и как розы". А рифма – не формальный прием, а свойство, присущее миру: "Есть рифмы в мире сем: / Разъединишь – и дрогнет"; "Да, хаосу вразрез / Построен на созвучьях / Мир и разъединен..." ("Двое", 1924). Все перекликается и рифмуется со всем: поэт "в рифму с парием", "лев рифмует с гневом", "Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо...", "Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром..." ("Не возьмешь мою душу живу...", 1924).

В классической метрике Цветаевой было тесно, "метрическое" она оценивала как "мертвое", как "лжесвидетельство" – и взрывала метры (ведь "по амфибрахиям не выверишь жизнь") и творила свои, особые, неповторимые ритмы – "ритм, впервые мой!". Никого не поучая и ничего не объясняя, поэтесса раскрывала свою душу, живущую в ритмах и созвучиях. "Это сердце мое, искрою / Магнетической – рвет метр" ("Самовластная свобода!", 1923).

Антипод Маяковского, С. Есенин был далек от теории "деланья стиха", называл свои произведения то песнями, то стихами (как Блок и Ахматова), и "обряжал" эти слова в метафорические "одежды": "засосал меня песенный плен"; "звериных стихов моих грусть"; "стихов злачёные рогожи"; "степное пенье"; "песенное слово"; "песня хриплая и недужная". Но и он в позднем творчестве высказал свое отношение к поэтическим традициям, объявив себя их защитником: "Мы

рифмы старые раз сорок повторим". В стихотворении "Поэтам Грузии" (1924) читаем:

Писали раньше Ямбом и октавой. Классическая форма Умерла.

Но ныне, в век нащ Величавый, Я вновь ей вздернул Удила.

В это же время В. Набоков "с других берегов" заявляет о своей приверженности классической форме в стихотворении "Размеры" (1923), отдавая должное всем традиционным метрам: "мерному амфибрахию", "эоловому размаху анапеста", "гулкому дактилю", меди и мрамору "медлительного гекзаметра", звонко искрящемуся хорею, но превыше всех ставит ямб:

А вот – созвучий рай – резная чаша: ярче в ней, и слаще, и крепче мысль; играет по краям блеск, блеск живой! Испей же: это ямб, ликующий, поющий, говорящий...

Цфат, Израиль



Пюлька и *трубка* в вещном мире Н.В. Гоголя

© Е.С.МЯКИНИНА

Острое любопытство к даже мельчайшим деталям материального окружения человека Н.В. Гоголь проявляет уже в самых ранних своих произведениях. Причем вещный мир интересен художнику и сам по себе, как самостоятельный объект изображения и как проявление образа жизни героев, их привычек, сути характеров.

К таким предметам, постоянно упоминаемым в "Вечерах на хуторе..." относится *люлька*.

"Этимологический словарь русского языка" М. Фасмера, со ссылкой на В. Даля, дает следующее толкование слову люлька: "короткая курительная трубка", зап., южн., курск. (Даль), укр. люлька. Отметим, что трубке Гоголь предпочитает национальный вариант – люльку. Этот предмет обладает важными свойствами: во-первых, персонажи "Вечеров..." чувствуют в ней постоянную потребность: "Все как будто недостает чего-то. Как будто потерял шапку или люльку; словом, не козак, да и только" (цит. по: Гоголь Н.В. Избранное: В 2 т. М., 1965); "Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на ле-

жанке, курить спокойно люльку и слушать... колядки"; "Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух".

Так заведено, что *люлька* сопровождает любого настоящего "козака" на протяжении всей его жизни. Не расстается он с ней и в веселье: "Парубки с люльками в зубах рассыпались... мелким бесом и подпускали турусы"; "С бандурою в руках, потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове пустился старичина... вприсядку"; поддержит она и в трудной ситуации: "Чтобы разогнать сон, обсмотрел он возы все... закурил *люльку*".

Это и символ единения, своеобразного духовного братства. В повести "Заколдованное место" читаем: "Сами [чумаки] сели все в кружок впереди курения и закурили люльки... но куда уже тут до люлек? За россказнями да раздобарами вряд ли и по одной досталось". Люлька — это и немаловажный атрибут наряда настоящего "козака", который может быть символом достатка и удали: "Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан... дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он... всех парубков"; "Красные, как жар, шаровары; синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медною цепочкою по самы пяты — запорожец, да и только!"

Отметим, что к *пюльк*е приучают с самого раннего детства, интерес к ней ребенка – своеобразный показатель того, что младенец станет настоящим удальцом: "Старый есаул пришел к колыбели, и дитя, увидевши... висевшую на ремне у него... красную люльку... протянуло к нему ручонки и засмеялось... По отцу пойдет, – сказал старый есаул, – еще от колыбели не отстал, а уже думает курить люльку".

Не стоит забывать, что слово *люлька*, помимо рассматриваемого, имеет второе значение — "колыбель". И в повестях первого сборника эти два основных значения начинают сливаться, отождествляться. К *люльке* тянутся с колыбели как к чему-то родному, кровному. Взрослый "козак", куря *люльку*, склоняется над младенцем в колыбели, который тянет ручонки к яркой вещице, и тем самым осуществляется связь времен, поколений.

Именно этот небольшой предмет участвует в создании художественного образа персонажей. Так, люлька является обязательной спутницей винокура из повести "Майская ночь, или Утопленница": "Сидел гость... с маленькими, вечно смеющимися глазками, в которых, кажется, написано было то удовольствие, с каким курил он свою коротенькую люльку"; "Глазки винокура пропали... и веселые губы оставили на мгновение дымившуюся люльку"; "Винокур... быстро набивши табаком свою люльку, выбежал на улицу"; "Послушаем, что пишет комиссар! – произнес винокур, держа в зубах люльку и высекая огонь".

Люлька сама по себе это и ценный подарок, в частности, дорогому тестю: "отправился выглядывать получшую деревянную люльку в медной щегольской оправе... для свадебных подарков тестю".

медной щегольской оправе... для свадебных подарков тестю".

Очень важна связанная с этим небольшим предметом примета: "От простого огня ведьма не загорится! Только огонь из люльки может зажечь оборотня". Нечистая сила боится огня именно из люльки. Тем самым бытовая вещь наполняется особым, чудодейственным свойством, приобретает почти священное значение: "козаки" свято верят в ее чудесную силу, которая сокрушает даже темное мировое зло, помогает простому человеку не отступать перед ним в страхе. Этот небольшой курительный предмет становится волшебным помощником, позволяющим одолеть враждебные силы.

Исследователи не раз отмечали такую особенность куложествен-

Исследователи не раз отмечали такую особенность художественного таланта Гоголя, как умение одним резким штрихом вылепить характер. Часто это происходит через описание того или иного предмета, принадлежащего герою: "Вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах". Эпитет заморская в данном случае говорит о негативном отношении к этому персонажу, наделен-

случае говорит о негативном отношении к этому персонажу, наделенному колдовскими способностями.

Люлька в "Вечерах на хуторе..." становится знаком приобщенности к национальной культуре, своеобразным символом духовного братства и всегда имеет положительную смысловую окраску.

Что касается повестей сборника "Миргород", то наравне с национальной люлькой появляется трубка, причем эти предметы в повествовании часто взаимозаменяемы: "Несколько дюжих запорожцев, лежавших с трубками в зубах на самой дороге... не сдвинулись с места"; "Запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги... курили свои люльки".

курили свои люльки". Трубка также необходимый атрибут снаряжения: "Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами... были неотлучно при каждом козаке"; она верная спутница досуга "козака": "...никогда не вмешивался он в их речи, а все только слушал да прижимал пальцем золу в своей коротенькой трубке, которой не выпускал изо рта"; "Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами".

обыкновенно сладкими глазами". Несмотря на равноценное, казалось бы, сосуществование люльки и трубки, есть некоторая разница в их знаковой окрашенности. Люлька — это спутница такой масштабной фигуры, как Тарас Бульба: "Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами!"; "Но Тарас не спал; он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос". Трубка же сопровождает малосимпатичную фигуру — кошевого: "Негде погулять, — отвечал кошевой, вынувши изо рта маленькую трубку" нувши изо рта маленькую трубку".

В повести "Вий" опять находим упоминание разных курительных предметов: "От них [философов] слышалась *трубка* и горелка иногда"; "Ритор Тиберий Горобець еще не имел права носить усов... и курить люльки". *Люлька* и здесь участвует в создании художественного образа персонажа — богослов Халява не расстается с ней ни на минуту: "Богослов помолчал... потом опять взял в рот свою люльку... А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки".

Интересно, что Иван Иванович и Иван Никифорович не курят ни люлек, ни трубок, они обходятся рожками с табаком: «Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только: "Одолжайтесь"»; "всегда протянет к Ивану Ивановичу руку с рожком".

ком".

В "Повести о том, как..." помимо *трубки* упомянуты и *табачные корешки*, и различные *табакерки*, и *кисеты*, и *рожки*, и *табак*, который "жид делает в Сорочинцах". Но при этом ни разу не увидим *пюльку*. Связано это, по нашему мнению, с тем, что «Миргород – тоже Украина, как и в "Вечерах...", — но это уже не та Украина. Из мира поэзии Гоголь ведет нас в мир житейского искажения ее...» (Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.-Л., 1959. С. 73). Родное, национальное еще присутствует, но забывается, отодвигается на второй план, героев поглощает быт, вещизм, материальная сторона жизни. *Пюлька* же скорее принадлежит сфере эпического, героических, масштабных фигур, для которых она верная спутница и помощница. Иван Иванович и Иван Никифорович — уже другой тип героев, в их характерах нет размаха и моши. поэтому и предметы, их окружающие, мелкие и обыденные. щи, поэтому и предметы, их окружающие, мелкие и обыденные.

В "Петербургских повестях" ранее намеченная тенденция продолжает развиваться и достигает высшей точки. Теперь курение трубки жает развиваться и достигает высшей точки. Теперь курение *трубки* сопряжено с распусканием слухов и сплетен, с хвастовством и бахвальством. Она становится обязательным атрибутом пустой пошлой жизни, которую ведут персонажи — офицеры и чиновники: "После обеда все встали с приятною тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чубуками, вышли... на крыльцо"; "Чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам... затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню".

Трубки в этом обществе обязательны, как и карты: "Акакий Акакиевич... вошел в комнату... мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт".

В повести "Невский проспект" трубка сопровождает самоповольного

В повести "Невский проспект" *трубка* сопровождает самодовольного и ограниченного поручика Пирогова: "Представлялось ему вовсе не то... то поручик Пирогов являлся с *трубкою*, то академический сторож"; "Он [Пирогов] имел особое искусство пускать из *трубки* дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое".

В "Коляске" *табачный дым* окутывает все собравшееся общество, затеняя индивидуальности, личности: "Тут генерал потянул из *трубки* и выпустил дым... – Лошадь, пуф, пуф, очень порядочная!.. Пуф, пуф, пу, пу...у...ф... – сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме". По ходу всей повести мы видим его с непременной *трубкою* и в табачном дыму. Возможно, *табачное облако* в данном случае "замещает отсутствующие мыслительные способности" (Добин Е.С. Искусство детали. Наблюдения и анализ. Л., 1975. С. 85).

В "Шинели" появляется еще один вариант времяпрепровождения: выкурить сигарку, при этом "наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь... в весьма покойных креслах с откидными спинками". Итак, в третьем сборнике повестей находим трубку, табачный дым, даже сигарку, т.е. полное отсутствие национального, самобытного. Это городские повести, где косвенно ставится проблема влияния запада, иного культурного уклада.

Нельзя не отметить упоминания различных *табакерок*, которые наделяются каким-либо ярким, броским штрихом: "Чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке"; "Петрович... полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала... вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой... закрыл, спрятал табакерку". Табакерки пополняют собой и без того обильный вещный мир гоголевских произведений и имеют интересную художественную функцию: уже на совсем другом уровне показывают тот процесс "одухотворения неживого" (выражение исследовательницы Гоголя О.С. Карандашовой), который всегда так занимал великого прозаика.



"Мое сердце – родник, моя песня – волна"

О поэтике Я.Н. Полонского

© П. А. ГАПОНЕНКО, кандидат филологических наук

Яков Петрович Полонский (1819–1898) дебютировал в русской поэзии двумя сборниками – "Гаммы" (1844) и "Стихотворения 1845 года", благосклонно встреченными критикой и читателями. Белинский отметил в начинающем стихотворце "чистый элемент поэзии".

В середине 50-х годов XIX века вышло большое собрание произведений Полонского, составленное из того, что он написал за пятнадцать лет. Некрасов отозвался на него рецензией, в которой поэт оценивался как "честный и истинный", наделенный "живым пониманием благородных стремлений своего времени".

В гражданско-публицистических и философских стихах, созданных в 60–70-е годы ("Признаться, сказать я забыл, господа...", "В мае 1867 г.", "И в праздности горе, и горе в труде...", "В альбом К.Ш....", "Блажен озлобленный поэт..."), Полонский выразил себя как "сын времени", сочувствовавший тому, что совпадало в прогрессивном движении эпохи с идеалами его юности. Общественные беды он ощущал как личные, сочувствуя страдающим, но не поднимаясь до возмуще-

ния и негодования. По складу своей духовной организации, чрезвычайно мягкому, добродушному, благородному, он не был способен "проклинать" и ненавидеть: "Мне не дал бог бича сатиры... В моей душе проклятий нет", – признавался он в стихотворении "Для немногих".

И.С. Аксакову, автору "жестких, беспощадных" стихов, он пишет: "Ты больше мыслил, я – любил". Разница между Аксаковым и Полонским в том, что первый изучал "корень общественного зла" "как врач", в то время как второй

...выжал сок его, пил, душу отравляя И заглушая сердца плач.

"Плач сердца" и неспособность "проклинать" — неотъемлемые свойства души и лиры Полонского, предопределившие особенности его поэтики. Своеобразие своей гражданственности он удачно определил как поэзию "душевной" и "гражданской" тревоги:

Тревоги духа, а не скуку Делил я с музой молодой. Я с ней делил неволи бремя – Наследье мрачной старины, И жажду пересилить время – Уйти в пророческие сны.

("Муза")

Несмотря на искушения "демона сомненья", он так и не пришел к "последнему ожесточенью..." ("К Демону").
По мере обострения социально-политической борьбы и размеже-

По мере обострения социально-политической борьбы и размежевания творческих и гражданских позиций Полонский не мог уйти ни в резкость "отрицательного" направления, ни в отрешенную надмирность "чистой" поэзии. В этом смысле он мог бы повторить вслед за А.К. Толстым: "Двух станов не боец, а только гость случайный...". Вот за это и подвергся он упрекам Добролюбова и жесткой, несправедливой по существу критике Салтыкова-Щедрина.

Лучшее в творчестве Полонского – несомненно, лирика, которую высоко оценили Тургенев и Страхов, Ап. Григорьев и Фет, Некрасов и Достоевский, Чехов и Бунин.

Тургенев так отзывался о Полонском: "Талант его представляет особенную, ему лишь одному свойственную смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений" (Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.–Л., 1960–1968. Письма. Т. 15. С. 158). В творчестве Полонского он находил то, что не удовлетворяло его в со-

временной поэзии: гармоничное сочетание гражданских мыслей и настроений с красотой художественной формы.

Ап. Григорьев отмечал особое очарование "в туманном, мечтательном, вечерней или утренней зарею облитом, колорите вдохновений Полонского" (Сочинения Аполлона Григорьева. Т. І. СПб., 1876. C. 344).

По оценке Бунина, голос поэта "будил в людях лучшие думы и чувства, облагораживал и возвышал всех, у кого есть в душе "искра Божия" (Власов В. Забытая бунинская статья // Орловская правда. 1998. 3 нояб.).

Подобно Фету, Полонский был новатором в разработке жанров лирической поэзии – романса, песни, элегии, оказавших влияние на развитие поэзии. Известно, как много дало его творчество молодому . Блоку.

Для понимания индивидуальности поэта существенно важным явдля полимания индивидуальности поэта существенно важным является его собственное сравнение с Фетом, талант которого — это круг, совершеннейшая, то есть наиболее приятная для глаз форма. Свой талант Полонский уподобляет линии, которая имеет то преимущество перед правильным кругом, что может и тянуться в бесконечность, и изменять свое направление.

Его стихи, действительно, "тянутся в бесконечность", они облада-Его стихи, действительно, "тянутся в бесконечность", они обладают удивительной способностью к расширению и обобщению заложенных в них смыслов, понятий, идей. Эту их особенность чутко уловил Достоевский. Не случайно в его душе отозвалось одно из замечательных поэтических созданий Полонского пятидесятых годов – психологическая новелла "Колокольчик", которую он ввел в свой роман "Униженные и оскорбленные". В словах героини Наташи Ихменевой выражено чувство самого писателя: "Какие это мучительные стихи <...> Канва одна, и только намечен узор, – вышивай, что хочешь".

В основе сюжета "Колокольчика" – трагедия несоединившихся судеб, история бедной девушки, брошенной неверным возлюбленным. Поэт намечает только "канву" пережитого в расчете на то, что читатель, применительно к собственной ситуации, сможет дополнить, "дорисовать" картину, вывести нечто общее и целое из намека или из детали.

вать" картину, вывести нечто общее и целое из намека или из детали. Стихотворение "Колокольчик" имеет четкую завязку, отнесенную

в прошлое и возникающую через ретроспективный план:

Улеглася метелица... путь озарен... Ночь глядит миллионами тусклых огней... Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!

Это стихотворение-воспоминание. В нем мечтательность, сдержанность при неподдельности эмоций, мелодичность. Сюжет, как это часто наблюдается в лирике Полонского, лишен законченности. В финале нет замыкания, исчерпанности темы. Главной его лирической эмоцией является пронизывающая каждую строчку тоска одиночества, сожаление об уходящей молодости, о проносящейся вместе с тройкой жизни.

Поэт ничего не навязывает читателю, пользуясь обаянием намека или недосказанности, умея высветить будничную жизненную ситуацию, продлить ее в бесконечную даль, и тогда в самой незавершенности открывается таинственный смысл.

"Колокольчик" в целом по своей ситуации отдаленно напоминает петербургские повести гоголевской школы 40-х годов. Характерны в этом отношении также ранние опыты Полонского, в известной степени сближающиеся с его романсной лирикой: "сюжетные" стихотворения, поэтические миниатюры очеркового или новеллистического характера ("Встреча", "Зимний путь", "Уже над ельником из-за вершин колючих...", "В гостиной", "Последний разговор"). Интерес к герою "разночинского" слоя, мироощущение которого мотивируется его социальной подавленностью, присущие ему "мечтательность" и неприятие норм и правил, принятых в обществе, внимание к обыденной жизни в ее реалиях, деталях быта, насыщенность стиха демократическими идеями и веяниями времени — во всем этом сказалось безусловное воздействие традиций прозы "натуральной школы".

Так, в стихотворении "Встреча" передан комплекс чувств, характерных для демократически настроенной молодежи 40-х годов. Герой по первому движению души готов осудить свою "погибшую" подругу:

О Боже, как она с тех пор переменилась; В глазах потух огонь, и щеки побледнели. И долго на нее глядел я молча строго...

Однако внутренняя деликатность героя, понимание им того, что в ее падении виноваты обстоятельства жизни, а не она сама, исключают взаимные упреки и обиды, уступая место взаимному сочувствию:

Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась; Я говорить хотел – она же ради Бога Велела мне молчать, и тут же отвернулась, И брови сдвинула, и выдернула руку, И молвила: "Прощайте, до свиданья".

"Уже над ельником…", "Последний разговор" – маленькие повести из жизни небогатой интеллигенции – в духе ранних тургеневских повестей.

Для многих из этих стихов характерно наличие бытовых и портретных подробностей, передающих психологическое состояние лирического героя:

Пришли и стали тени ночи На страже у моих дверей! Смелей глядит мне прямо в очи Глубокий мрак ее очей; Над ухом шепчет голос нежный, И змейкой бъется мне в лицо Ее волос, моей небрежной Рукой измятое, кольцо...

Тени ночи, ставшие на страже у дверей счастливого любовника, словно живые таинственные существа. И когда "покачнулись тени ночи, бегут, шатаяся, назад", мы видим их воочию.

Это вдохновенное стихотворение взыскательный Некрасов счел необходимым полностью процитировать в рецензии.

Неожиданная глубина и психологичность обнаруживаются в таких шедеврах Полонского, как "Ночь" и "Песня цыганки". В первом из них — мирная, естественная картина природы, пейзаж, оттеняющий психологическое состояние человека, его душевные переживания, томление души, жаждущей покоя:

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь, — Так люблю, что страдая любуюсь тобой! Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь — Оттого, может быть, что далек мой покой!...

Здесь замечательно это словосочетание *страдая любуюсь* – оксюморон, благодаря которому поэт оживляет семантические связи стиха, придавая глубинный подтекст всему стихотворению.

В "Песне цыганки" нет и малейшего элемента "цыганщины". Романс отличается удивительной глубиной, задушевностью и целомудрием чувства. Не трагизм, а только тихая грусть в расставании цыганки с милым другом: "На прощанье шаль с каймою Ты на мне узлом стяни: Как концы ее, с тобою Мы сходились в эти дни".

Теплом семейного уюта веет от окна, за которым "в тени мелькает русая головка", от старого дома "в одной знакомой улице" с "чудо девушкой" в нем. Простодушная песня Полонского вдохновила И.А. Бунина, который, тоскуя в эмиграции об оставленной родине, писал рассказ, названный по первой строчке стихотворения "В одной знакомой улице".

Ночь, сумерки, сны и мечтания – частые темы стихотворений Полонского. Поэт особенно приметлив к смутному сиянию луны, к мягким полутонам:

За горами, лесами, в дыму облаков Светит пасмурный призрак луны, Вой протяжных голодных волков Раздается в тумане дремучих лесов — Мне мерещатся странные сны.

Или:

Посмотри – какая мгла В глубине долин легла! Под ее прозрачной дымкой В сонном сумраке ракит Тускло озеро блестит. Бледный месяц невидимкой, В тесном сонме сизых туч, Без приюта в небе ходит И, сквозя, на все наводит Фосфорический свой луч.

Полонский обладал душой, чуткой и отзывчивой к жизни, душой светлой, оптимистически настроенной, верившей в то, что "нет конца стремленью, есть конец страданью". С необычайной остротой он ощущал, слышал, видел.

Что звенит там вдали – и звенит и зовет? И зачем там в степи пыль столбами встает? И зачем та река широко разлилась? Оттого ль разлилась, что весна началась?

И откуда, откуда тот ветер летит, Что, стряхая росу, по цветам шелестит, Дышит запахом лип и, концами ветвей Помавая, влечет в сумрак влажных аллей?

Откуда, зачем, отчего? – поэт не знает ответа, но что-то шелестит, звенит, зовет, влечет, и он слышит шелест, звон, зов, ему открыты родники жизни — все чувствуемое, зримое и слышимое. Смысл жизни вообще остается для него как бы неразгаданным, и только грустно красивые стихи передают нам томление поэта при виде красавицы, встреченной в провинциальной глуши. Обыкновенная, ничем не примечательная встреча, но она предстает здесь полной тайны и красоты, потому что в ней открывается далекая перспектива.

Стихотворение "В глуши", откуда мы процитировали два четверостишия, очень характерно для Полонского. Оно, как и "Колокольчик", "тянется в бесконечность". Основной движущей силой стиха выступают два наречия — там вдали: "Что звенит там вдали — и звенит и

зовет?". Властная сила бесконечной протяженности и открытости дали, подернутый дымкой таинственности образ героини, колеблющийся на самой грани прямого и символического смысла, поэтическая "невысказанность", "контурность". И сюжет, лишенный законченности, рождающий впечатление "открытого стиха":

Не природа ли тайно с душой говорит? Сердце ль просит любви и без раны болит? И на грудь тихо падают слезы из глаз... Для кого расцвела? для чего развилась?

Вопросы, остающиеся без ответа, еще более сгущают атмосферу загадочности и таинственности. Тоской безысходности, но и неизъяснимым обаянием веет от этих стихов. Поистине "смесь простодушной грации и правдивости впечатлений" (Тургенев) и "необычайно чуткая восприимчивость поэта к жизни природы и внутреннее слияние явлений действительности с образами его фантазии и с порывами его сердца" (Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.–Л., 1934—1941. Т. 2. С. 489).

В постоянной устремленности Полонского туда, вдаль сказывались настроения его юных лет, родственные пафосу лермонтовской поэзии. Идеальные порывы переплетались с восприятием реального мира и были вызваны к жизни самой действительностью. В этом смысле поэт мог бы повторить слова Тютчева: "Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле" (Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. М., 1957. С. 19). У Полонского, как заметил В. Соловьев, всегда чувствуешь и ту землю, от которой он оттолкнулся. Грань между "поэтическим" и "житейским" открыта, переход из будничной среды в область поэтической истины ощутим. Это свойство очень близко исканиям символистов, и оно отразилось во многих стихотворениях Полонского:

Мое сердце – родник, моя песня – волна, Пропадая вдали, – разливается...
Под грозой – моя песня, как туча, темна, На заре – в ней заря отражается.
Если ж вдруг вспыхнут искры нежданной любви Или на сердце горе накопится – В лоно песни моей льются слезы мои, И волна угасить их торопится.

Или:

И любя и злясь от колыбели, Слез немало в жизни пролил я; Где ж они – те слезы? Улетели, Воротились к Солнцу бытия. Чтоб найти все то, за что страдал я, И за горькими слезами я Полетел бы, если б только знал я, Где оно – то Солнце бытия?..

В этих и подобных стихах воспроизводятся скрытые душевные движения, таинственные предчувствия. Слова в них теряют свое обычное прямое значение и употребляются в значении переносном и расширительном. Художественный образ обретает "потаенный смысл", недосказанность.

Здесь уместно привести высказывание Л.Н. Толстого: "Самое важное в произведении искусства – чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого, к чему сходятся все лучи, или от чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объяснению словами" (цит. по: Блок Александр. Лирика. Тридцать лирических циклов и разные стихотворения. М., 1980. С. 8).

Необъяснимость подобного фокуса особенно ощутима в лирической поэзии, где, говоря словами того же Толстого, торжествует "лирическая дерзость" — "свойство великих поэтов". Заметим, что понятие "лирическая дерзость" вмещает в себя не только свободу и смелость метафор, но также и оголенную простоту речи, и умение извлекать новое очарование из, казалось бы, уже стершегося смысла слова. Эту сторону мастерства хорошо понимал Полонский, тяготевший к речи прямой и точной, не гнушавшийся и "грубым просторечием", но не впадая при этом в прозаичность.

Вот и в приведенных двух лирических миниатюрах конкретные понятия превращены в многозначные символы, образующие единый исихологический контекст, говорящий о большем, нежели то, о чем непосредственно и буквально сказано в тексте. Смысл первой из них можно обозначить так: поэзия — "образ мира, в слове явленный" — обладает главными чертами своего прообраза — сложностью и многообразием.

Ключевой образ второй миниатюры – бесспорно, Солнце бытия. Это, выражаясь словами Толстого, тот самый фокус, к чему сходятся все лучи, или, напротив, от чего исходят. Стихотворение "И любя и злясь от колыбели..." создано в 1898 году, на пороге смерти, и носит в некотором роде итоговый характер. Образ Солнца бытия, возникший в сердце старого поэта, перекликается с образом того солнца, о котором он обмолвился в раннем стихотворении "К Демону" (1842):

И как велик мой новый храм — Нерукотворен купол вечный, Где ночью путь проходит млечный, Где ходит солнце по часам, Где все живет, горит и дышит, Где раздается вечный хор, Который демон мой не слышит, Который слышит Пифагор.

Так в молодые годы построил поэт храм, в котором природа и искусство помогли ему преодолеть сомнения и рефлексию и вернуться к жизни. Таким образом установилась его внутренняя самостоятельность. Знаменателен здесь образ природы — это мир, познаваемый через искусство и науку.

Теперь, будучи стариком и вспоминая ранние годы своей жизни, он мог чувствовать цельность своей личности, неразрывную связь прошлого с настоящим, до конца сохраняя детскую ясность души. Опорные образы, вошедшие в стихотворение "И любя и злясь от колыбели..." из реальной действительности, приобретают в нем символический подтекст, но в известной мере сохраняют свою "первоначальную" эмпирическую достоверность и подлинность. Завораживающая "размытость" стихотворения — от поэтического целомудрия и внутреннего тепла задушевности. "Неясность" — от предпочтения полутонов.

Полонский любил изображать картины в открывающейся далекой перспективе, поэтому так часты в его стихах образы дороги, дали, степи, простора ("Дорога", "В глуши", "На Женевском озере", "Цыганы", "Памяти Ф.И. Тютчева"). Он словно раздвигает границы поэтической ситуации, намекая на то, что скрывается в глубинах его психологии. Благодаря этому будничная жизнь в его стихах притягивает своей поэтической тайной и загадочным смыслом. Круг размышлений о смысле человеческой жизни, мечты о невозможном счастье, опасение за будущее, грустное воспоминание о том, что было и погибло – все это кажется на первый взгляд вполне традиционным, однако образ лирического героя обретает психологически достоверные черты, он оказывается выразителем неповторимого душевного опыта самого поэта с его реальными переживаниями.

Психологическая, лирико-интимная тема у Полонского испытала воздействие русской прозы второй половины XIX века:

"Поцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я еще люблю...
Наклонись ко мне".
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающий.
Я дышать не смел —
Я в лицо твое,
Как мертвец, глядел —
Я склонил мой слух...

Но, увы! мой друг, Твой последний вздох Мне любви твоей Досказать не мог. И не знаю я, Чем развяжется Эта жизнь моя! Где доскажется Мне любовь твоя!

("Последний вздох").

Эмоционально многозначен психологический рисунок. Полонский детально фиксирует трагический момент на грани жизни и смерти — тема, которая в последующие десятилетия получит широкое распространение в творчестве многих поэтов. В сущности, целые исследования о смерти — в стихах и в прозе мы находим у Голенищева-Кутузова, Апухтина, Андреевского, Случевского. Причем наибольший интерес вызывает у них сама ситуация "Между смертью и жизнью" (название повести Апухтина).

"Непонятная для нас истома смертного страданья" (Тютчев) находит в стихотворении Полонского блестящее художественное воплощение. Предельной экономией художественных средств поэт достигает поразительного эффекта. Никаких метафор и олицетворений, все совершенно конкретно, предметно. Рисуется картина, в которой и предсмертная просьба женщины (особенно знаменательна здесь ее фраза "Я еще люблю..." с этим щемяще-пронзительным еще), и удручающее состояние лирического героя, похожего на "мертвеца", и пугающая его неизвестность дальнейшей судьбы ("чем развяжется" она).

Поражает обманчивая простота стихотворения, приведшего в восторг Фета. «Недавно, как-то вечером, – писал он другу, – я вслушался в чтение наизусть... давно знакомого мне стихотворения: "Поцелуй меня, Моя грудь в огне..." и меня вдруг как-то осенило всей воздушной прелестью и беспредельным страданием этого стихотворения. Целую ночь оно не давало мне заснуть, и меня все подмывало <...> написать тебе ругательное письмо: "Как, мол, смеешь ты, ничтожный смертный, с такою определенностью выражать чувства, возникающие на рубеже жизни и смерти <...>, ты <...> настоящий, прирожденный, кровью сердца бьющий поэт"» (Фет Афанасий. Стихотворения. Проза. Письма. М., 1988. С. 357).

Стихотворение "Что, если..." построено на благодатном лирическом сюжете: что случится, если на "последнюю любовь" лирического героя милое созданье ответит "первой любовью", доверчиво откроет ему свою душу, а взамен на свое чувство вдруг получит не сердечную преданность, а ревность, "неугомонное подозренье"?

Очнувшись женщиной, в испуге за себя, Она к другому кинется в объятья И на захочет понимать тебя, – И в первый раз услышишь ты проклятья, Увы! в последний раз любя.

Стихотворение это — маленький рассказ об обманутом чувстве (правда, в вероятностной форме), об иллюзорности и непрочности любви, о любовном порыве, не получившем отклика, в конечном счете, о несостоявшемся счастье (часто повторяющаяся тема в творчестве Тургенева). Вообще, любовь в поэзии Полонского — это, как правило, мечта о невозможном счастье и тревожное предчувствие беды.

На всей его поэзии лежит отпечаток гуманности и благородства, кроткой доброты. А.Н. Майков в стихотворном послании к своему другу так пишет о стихе Полонского:

Стремится речь его свободно; Как в звоне стали чистой, в ней Закал я слышу благородной Души возвышенной твоей.

(Майков А.Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 126).



Тема весны у И.А. Бунина

© Н. Д. ИВАНОВА, кандидат филологических наук

Если в картинах зимы у Бунина преобладают четкие скульптурные контуры предметов на фоне огромного ясного пространства, то весенний ландшафт заполнен маревом, туманом, зыбкими очертаниями, сложными оттенками цветов. Основные мотивы ранней весны — мягкость, неопределенность, таинственность. Эта поэтика ярко проявляется, например, в стихотворении Бунина "Апрель":

Туманный серп, неясный полумрак, Свинцово-тусклый блеск железной крыши, Шум мельницы, далекий лай собак, Таинственный зигзаг летучей мыши. А в старом палисаднике темно, Свежо и сладко пахнет можжевельник, И сонно, сонно светится сквозь ельник Серпа зеленоватое пятно.

(Курсив здесь и далее наш. - H.И.)

Живописный лейтмотив ранней весны – четкий узор ветвей на фоне неба с молодым месяцем:

Не угас еще вдали закат, И листва сквозит узором четким, А под ней уж серебрится сад Светом и таинственным и кротким. Народился месяц молодой Робко он весенними зорями Светит над зеркальною водой, По садам сияя меж ветвями.

Завтра он зарею выйдет вновь И опять напомнит, одинокий, Мне весну, и первую любовь, И твой образ, милый и далекий...

Мотив нежной, ласковой весенней природы звучит и в других стихотворениях Бунина:

...Усядусь,
Огня не зажигая, возле окон,
Облитых лунным светом, и смотрю
На сад, на двор, на звезды редкие... Как нежно
Весной ночное небо! Как спокойна
Луна весной! Теплятся, как свечи,
Кресты на древней церковке. Сквозь ветви
В глубоком небе ласково сияют,
Как золотые кованые шлемы,
Головки мелких куполов...

В стихотворении "В стороне далекой от родного края..." картина апрельской природы представлена развернутым олицетворением в образе девушки-весны. В ее облике Бунин передает оттенки настроения этой переходной поры года — "На устах улыбка, а в очах раздумье...":

В стороне далекой от родного края Девушкой-невестой снится мне Весна: Очи голубые, личико худое, Стройный стан высокий, русая коса. Весело ей в поле теплым, ясным утром! Мил ей край родимый — степь и тишина, Мил ей бледный север, мирный труд крестьянский, И с приветом смотрит на поля она: На устах улыбка, а в очах раздумье — Юности и счастья первая весна.

Картины весны метафорически переносятся и на внутреннее состояние лирического героя, выражая неопределенность, противоречивость чувства, "сладкую печаль", ощущение недостижимости счастья:

За рекой луга зазеленели, Веет легкой свежестью воды, Веселей по рощам зазвенели Песни птиц на разные лады.

Ветерок с полей тепло приносит, Горький дух лозины молодой... О, весна! Как сердце счастья просит! Как сладка печаль моя весной!

Кротко солнце листья пригревает И дорожки мягкие в саду... Не пойму, что душу разрывает И куда я медленно бреду!

Не пойму, кого с тоской люблю я, Кто мне дорог... И не все ль равно? Счастья жду я, мучась и тоскуя, Но не верю в счастье уж давно!

В основе бунинского весеннего пейзажа лежит идея изменения как проявления в природе нового качества, постепенного накопления иных признаков, изменчивости форм, иногда внезапных. Символический смысл такого весеннего пейзажа очевиден — он ясно обнаруживается в параллелизме "внезапного и благотворного перелома", "расцвета" в душе молодого героя: "Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне, но ознаменовалась еще одним, внезапным и благодетельным переломом, расцветом, совершающимся во всем своем существе.

Удивителен весенний расцвет дерева! А как он удивителен, если весна дружная, счастливая! Только то незримое, что неустанно идет в нем, проявляется, делается зримым, особенно чудесно. Взглянув на дерево однажды утром, поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь. А еще через неделю некий срок – внезапно лопаются почки – и черный узор сучьев сразу осыпают несметно ярко-зеленые мушки.

А там надвигается первая туча, гремит гром, свергается первый теплый ливень — и опять, еще раз совершается диво: дерево уже стало так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью, раскинулось крупной и блестящей зеленью так густо и широко, стоит в такой красе и силе молодой крепкой листвы, что просто глазам не веришь... Нечто подобное произошло и со мной в то время" ("Жизнь Арсеньева").

В этом и ему подобных описаниях расцвет природы прямо ассоциируется с молодостью, счастьем, внутренним преображением человека. Другие образные ассоциации весеннего пейзажа – мотивы чистоты, новизны, свежести. В отрывке из рассказа "Натали" изобразительным акцентом, подчеркивающим их, становится эпитет "белый": "Всюду была тишина деревенской майской ночи, весенняя чистота, свежесть и новизна всего — полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада..."

Яркие, контрастные цвета майской природы дополняют сложные сладковатые запахи: "Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши, и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух, и эти тленные запахи делались еще слаще".

Таким образом, главные образные ассоциации весны у Бунина связаны с мотивами молодости, обновления человеческой жизни, праздника, перемен, как в стихотворении "Старая яблоня":

Вся в снегу, кудрявом, благовонном, Вся-то ты гудишь блаженным звоном Пчел и ос, от солнца золотых...

В целом, эмоционально-символический смысл весеннего бунинского пейзажа – "сладость жизни, надежд, счастья, что никакими словами не скажешь".



"ОСОБЫЙ ЯЗЫК" ПРОЗЫ В. ПЕЛЕВИНА*

© Т. Н. МАРКОВА, доктор филологических наук

Какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем договориться...

В. Пелевин "Онтология детства"

Переосмысление семантики общеупотребительных слов в текстах В. Пелевина напрямую связано с переоценкой ценностей современным человеком. Это явление выражается, в частности, в стремлении писателя оживить умершие метафоры посредством того же "остранения", которое (что, как известно, было подчеркнуто еще В. Шкловским) возникает в сознании человека в периоды "переходного" времени: "Отщепенцы. А бревно откуда взялось? В смысле, то, от чего они отщепились?" ("Затворник и Шестипалый").

В словесных формах прозаика "рубежной" эпохи нередко встречается сочетание несочетаемого (оглушительная тишина, застенчивая кровожадность и т.п.), обнажается метафизика, прячущаяся в многозначности, к примеру, слова земля: "То, в чем гниют кости, и мир, в котором мы живем, так сказать, живем, называется одним словом".

Герои Пелевина проявляют обостренное внимание к морфологии: «Я бы предложил слово "верволк" – русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст» ("Проблема верволка в Средней полосе"). Еще подобный пример: «Поверх рекламы лимонада в окне кондитерской наискосок повисло оглушительных размеров объявление, первая строка которого, выделенная крупным шрифтом и восклицательными знаками, фамильярно предлагала искать товар, причем слова "товар" и "ищи" были набраны вместе» ("Хрустальный мир").

^{*} Окончание. См. Русская речь. 2005. № 1.

В текучих и призрачных "внутренних" мирах Пелевина значение слова "растекается", "растворяется", из-за чего его многозначность оборачивается потерей номинативности. Писателю порой достаточно лишь указания на предмет или явление употреблением местоимения или местоименного наречия — там, тут, здесь, туда, в которых скрыто присутствует эзотерическая семантика. В этом случае внешне бытовой диалог аранжируется так, что за ним прочитывается другой — метафизический смысл:

"Перед Андреем стояла неспокойная девочка с огромными грязными бантами в волосах. Стуча кулаком в стекло, она глядела в окно, иногда поворачиваясь к стоящей рядом матери, одетой в турецкий спортивный костюм.

- Мама, спросила вдруг она, а что там?
- Где там? спросила мама.
- Там, сказала девочка и ткнула кулаком в окно.
- Там, с ясной улыбкой сказала мама.
 А где лучше, спросила девочка, в поезде или там?
- Не знаю, сказала мама, там я не была.
- Я хочу туда, сказала девочка и постучала пальцем по стеклу окна.
 - Подожди, горько вздохнула мать, еще попадешь.
- Я хочу туда а, пропела девочка на несуществующий мотив, там там, там там" (Пелевин В. "Желтая стрела". М., 2000. С. 36; далее - только стр.).

Субстантивированные местоименные наречия "мерцают" какимито новыми, нетривиальными, можно сказать — экзистенциальными смыслами: "Обычная анкета: где родился, когда, зачем и так далее". Последний вопрос — зачем — естественный при пересечении границы, вопрос о цели прибытия – резонирует с вечным вопросом о смысле жизни, и оба значения актуализируются в тексте. Так, теряя предметность, слово становится знаком: бесконечно множа и прибавляя новые смыслы, превращаясь, по словам А. Антонова, в "притворяющийся значащим знак". В итоге – пелевинская внебытовая, "эзотеричес-

ся значащим знак". В итоге – пелевинская внебытовая, "эзотерическая" интерпретация человека и мира проявляет себя в характерной для него стилевой – "тривиально-призрачной" – форме, когда банальности и очевидности наполняются "нездешним", "иным" смыслом. Рассказ "Онтология детства" явно свидетельствует об этом авторском совмещении: "Какой смысл разрабатывать особый язык, когда можно прекрасно обо всем договориться, встретившись на общих работах? Но важна идея – передача сути через комбинацию самого что ни на есть простого, вроде доносящихся через стену ударов" (С. 263). Свойственный Пелевину способ передачи эзотерического через тривиальное проявляется во множестве вариантов. Вот простейшая модель Вселенной (бройлерного комбината), сконструированная в рас-

сказе "Затворник и Шестипалый": "Вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. Всего во вселенной есть семьдесят миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил... В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется Цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап и обновленный мир выходит с другой стороны Цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит цикл и через положенный срок опять ввергается в Цех номер один" (С. 77).

А вот другой вариант той же модели: «"Желтая стрела" — это поезд, который идет к разрушенному мосту, поезд, в котором мы едем. Пассажиры не понимают того, что едут в поезде, им никогда не придет в голову, что с этого поезда можно сойти.

... Когда человек перестает слышать стук колес и согласен ехать дальше, он становится пассажиром <...> самое сложное в жизни – ехать в поезде и не быть его пассажиром» (С. 20–21).

Как замечено А. Генисом, во многих рассказах и повестях Пелевина ("Вести из Непала", "День бульдозериста", "Желтая стрела") сверхреальный, эзотерический смысл раскрывается как бы случайно, обнаруживаясь неожиданно, внезапно, озвучиваясь, например, голосом из репродуктора (голосом из эфира): «Куросава как бы стремится показать, что каждый из социально адекватных героев тоже, в сущности, едет по реальному вагону в своем собственном маленьком иллюзорном "трамвае". Но, однако, Куросава не намечает никаких путей выхода из показанного им бесприютного мира» (С. 44).

Окказионально-метафорический смысл слова "трамвай" подчеркнут графически — кавычками: он не предмет, а якобы предмет, его знак. Так графика текста тоже становится средством выражения авторской интенции. Даже аббревиатуры в рассказах Пелевина наполняются магическим смыслом: «Этикетка была такой же, как и на "особой московской" внутреннего разлива, только надпись была сделана латинскими буквами и с белого поля глядела похожая на глаз эмблема "Союзплодоимпорта" — стилизованный земной шарик с крупными буквами "СПИ"» (С. 410). Эзотерическое, символическое остранение реализуется и шрифтовым выделением текста, например, прописными буквами:

«Слово "KAPMA", написанное крупными черными буквами на белом фоне, тем шрифтом, каким печатают название газеты "Правда"». Ипи:

"ТОТ, КТО ОТБРОСИЛ МИР, СРАВНИЛ ЕГО С ЖЕЛТОЙ ПЫЛЬЮ.

ВЕСЬ ЭТОТ МИР – ПОПАВШАЯ В ТЕБЯ ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА.

ПРОШЛОЕ – ЭТО ЛОКОМОТИВ, КОТОРЫЙ ТЯНЕТ ЗА СОБОЙ БУДУЩЕЕ.

ТЫ ЕДЕШЬ СПИНОЙ ВПЕРЕД И ВИДИШЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО УЖЕ ИСЧЕЗЛО.

А ЧТОБЫ СОЙТИ С ПОЕЗДА, НУЖЕН БИЛЕТ.

ТЫ ДЕРЖИШЬ ЕГО В РУКАХ, НО КОМУ ТЫ ЕГО ПРЕДЪЯВИШЬ?"

В заключительной части рассказа "Девятый сон Веры Павловны" возникают элементы дореволюционной русской орфографии: "Когда Вера Павловна на другой день вышла изъ своей комнаты, мужъ и Маша уже набивали вещами два чемодана" (С. 383). Стремлением автора обнажить "двойное дно" повседневности про-

Стремлением автора обнажить "двойное дно" повседневности продиктованы и особенности пунктуации его рассказов. Формульные конструкции, в которых этические категории (а нередко и стоящие за ними экзистенциальные понятия) определяются через обыденное ("Жизнь – это просто грязное стекло, сквозь которое я лечу" и др.), обусловлены все тем же основным стилевым законом пелевинской прозы.

Заметим также, что целый ряд риторических формул у Пелевина ("Поиск смысла жизни - сам по себе единственный смысл жизни. Любая индивидуальная судьба в любой стране – это метафорическое повторение того, что происходит со страной. Ведь все наши понятия – продукт общественного соглашения, не более...") обнаруживает свою несомненную близость к научному стилю (см.: Пелевин В.О. Зомби по-советски // Обществ. науки и современность. 1993. № 6. С. 157–170; Джон Фаулз и трагедия русского либерализма // Независимая газета. 1993. 20 янв.; Зомбификация // День и ночь. 1994. № 4. С. 135–145; Имена олигархов на карте родины // Новая газета. 1998. 19 окт.). Однако в них тоже присутствует "мерцательная" логика неопределенности границ – счастья и несчастья, жизни и смерти, сна и яви: "В сущности, никакого счастья нет, есть только сознание счастья. Есть только сознание, а все остальное, в том числе и мы сами, существует только постольку, поскольку попадает в его сферу" ("Затворник и Шестипалый"); "Никакой смерти нет, а есть только родовые схватки, сопровождающие рождение обновленного и более совершенного мира" ("Происхождение видов").

Поскольку герои Пелевина заняты преимущественно припоминанием или осмыслением происходящего, работа их сознания синтаксически выражается чаще всего в обилии вопросительных конструкций, свойственных внутренней речи человека: "Я даже не знаю, кто такой я сам? Кто тогда будет выбираться отсюда? И куда? Кто такой я, который видит? Что тогда существует на самом деле и кто такие мы сами? Кто такой я сам? Куда деваются деревья и шлагбаумы, когда на них никто не смотрит? Откуда берутся те, кто населяет иллюзорное пространство его снов? А что бывает после смерти? А что такое полет? Какая сила заставляет жизнь приобретать новые формы? И как разглядеть гармонию в том, что на первый взгляд представляется полным хаосом?". Так экспрессивный синтаксический строй внутренней речи пелевинских героев, пересекающих границы разных миров, передает напряженно-рефлексивный характер их самосознания.

Ощущение призрачности этих создаваемых автором "внутренних миров" усиливается благодаря их явной литературности и **реминисцентности.** Возникающий при этом второй план нередко подается совершенно открыто: так, в рассказе "Вести из Непала" цитируется буддийская "Книга Мертвых", а в рассказе "Ника" (см.: Яценко И.И. Интертекст как средство интерпретации художественного текста (на материале рассказа В. Пелевина "Ника") // Мир русского слова. СПб., 2001. № 1. С. 73–83) с первого абзаца вводятся цитаты из Бунина и Блока: "Теперь, когда ее легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре, и на моих коленях лежит тяжелый, как силикатный кирпич, том Бунина, я иногда отрываю взгляд от страницы и смотрю на стену, где висит ее случайно сохранившийся снимок" (С. 413);

«"И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, — бормотал я сквозь дрему, раздумывая над тайной этого несущегося сквозь века молчания, в котором отразилось столько непохожих сердец, — был греческий диван мохнатый да в вольной росписи окна..." Я заснул над книгой, а проснувшись, увидел, что Ники в комнате нет» (С. 423).

В "Нике" интертекстуально присутствуют и Дмитрий Мережковский ("Юлиан Отступник"), и Гайто Газданов ("Вечер у Клэр"), и Владимир Набоков ("Лолита"). В рассказе "Девятый сон Веры Павловны" возникают имена Фрейда, Набокова, Верди, Баха, Моцарта, Вагнера, Чехова, Есенина, Сологуба. В "Хрустальном мире" — снова "живут" Мережковский, Блок, а также Шпенглер, Ницше, Стриндберг, Бетховен и пародийно — Горький: "...инвалид (переодетый Ленин. — T.M.) на секунду закрыл лицо ладонью, словно не в силах поверить, что эту музыку ("Апассионату". — T.M.) мог написать человек". Иногда аллюзии проступают в текстах Пелевина не столь явно.

Иногда аллюзии проступают в текстах Пелевина не столь явно. А. Антонов, в частности, делает тонкое наблюдение о том, как Пеле-

вин, переосмысляя советский миф о счастливом детстве, ёрнически копирует знакомую с детства интонацию в биографической части повести "Омон Ра": "Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему... Маму я помню плохо... Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по выходным" ("Омон Ра"). Исследователь рекомендует сравнить этот кусок пелевинского текста с фрагментом рассказа А. Гайдара "Судьба барабанщика": "Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву".

Как видим, прозаик, сознательно оперируя "готовыми языковыми блоками" (А. Антонов), нацеливает читателя на восприятие его произведения в широком поле самых разных культурных традиций (от древней философии до канонов соцреализма), не выстраивая никакой иерархии в их подаче. Такое совмещение, создающее впечатление максимально "раздвинутого" мира, мы и обозначаем категорией "эклектика" (разносоставное, множественное, внеиерархическое, подчеркнуто свободное совмещение стилей).

черкнуто свободное совмещение стилей).

Новейшая проза тяготеет одновременно и к скрупулезной точности описаний, и к максимальной смысловой обобщенности, и в этом смысле проза Пелевина тоже выражает общую для словесности конца XX века устремленность. "Странно устроена человеческая психика! В первую очередь ей нужны детали", — читаем в повести "Омон Ра", посвященной "героям советского космоса". Странная "космическая" семантика изображаемого автором нагнетается с первых страниц его повести: это и кинотеатр "Космос", и пионерлагерь "Ракета", и настенный календарь "За мирный космос", и песня "Мой Фантом, как пуля быстрый", и кинофильмы про советских летчиков, и лётное училище имени А. Маресьева, и повесть Б. Полевого...

А рядом выстраиваются многочисленные реалии 1970-х: от хитов

А рядом выстраиваются многочисленные реалии 1970-х: от хитов советской эстрады ("Пора – пора – порадуемся на своем веку", "Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко") – до репертуара популярной английской группы "Пинк Флойд"; от полугоночного велосипеда "Спорт" – до банок с китайской тушенкой "Великая Стена" и дешевого портвейна "Агдам".

При этом каждая из деталей (и особенно их повторы) несет свою смысловую нагрузку в конструкции повести, играя роль не антуража, но — "подсказки", "вешки", "указателя", "ключа" (А. Генис). Так, в повести "Омон Ра" четырежды (в разных ситуациях) повторяется один и тот же набор продуктов: суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. Таково меню холодного и невкусного обеда в пионер-

лагере, в столовой военного училища, последнего обеда на Земле перед полетом на Луну, и тот же набор продуктов-полуфабрикатов мы видим в авоське женщины в метро — на последней странице повести. Навязчиво повторяемая деталь приобретает смысл общей константы советской жизни, статичной и неживой.

С той же периодичностью упоминается в тексте повести и полугоночный велосипед "Спорт". В детстве гонки на велосипеде давали герою возможность испытать ощущение полета с помощью такого нехитрого приспособления, как трещотка на заднем колесе, имитировавшая шум авиационного двигателя. Оказавшись впервые в луноходе, герой обнаруживает внутри космического аппарата переделанную раму от велосипеда "Спорт", с педалями, вращающими заднюю пару колес, и рулем-баранкой, поворачивающим передние. Во сне перед стартом Омон видит себя плывущим на странном водном велосипеде, переделанном из наземного, а разбуженный телефонным звонком, он снова оказывается сидящим внутри лунохода. Доведенный до крайней степени утомления и физического изнеможения, герой галлюцинирует: "Мне начинало казаться, что я слышу рев проносящихся мимо грузовиков и шуршание шин об асфальт, и только очередной сеанс связи приводил меня в чувство. Но потом я снова выпадал из лунной реальности, переносился на подмосковное шоссе и понимал, как много для меня значили проведенные там часы".

Настойчиво повторяющаяся деталь дает ключ к пониманию художественного мира Пелевина, стирающего грань между реальностью и псевдореальностью, иллюзией, сном, галлюцинацией, фантазией и делающего свободным и беспрепятственным виртуальное временное и пространственное перемещение героя.

В его сознании закрепляется еще одно, пришедшее из детства, навязчивое воспоминание: наказание в пионерлагере, когда мальчиков в тихий час заставили ползти в противогазе по линолеуму длинного коридора спального корпуса. Вначале представшее шуткой, это задание оборачивается нечеловеческой пыткой: слезы и пот, боль и усталость выключают сознание героя (а вместе с ним — и ощущение времени и места) и высвобождают подсознательное "эхо будущего".

Сквозь залитый слезами противогаз мальчику видится желтый лунный глобус, висящий в сероватой пустоте, и "что-то, ползущее по коридору на ржавых колесах". Согласно принципу конструктивной симметрии, мы почти с непреложной обязательностью обнаруживаем эту деталь в той части текста, где уже идет рассказ о полете: "Больше всего Земля из космоса напоминает небольшой школьный глобус, если смотреть на него, скажем, через запотевшие стекла противогаза... Я вспомнил, как давным-давно в детстве полз в противогазе по линолеуму, неслышно подпевая далекому репродуктору, и тихим голосом запел: Это бело-гвардей-ски-е цепи!". С образом "коридора пытки"

соотносятся и другие аналогичные образы, появляющиеся позднее и переводящие героя в другое измерение: тоннель, шахта, люк, черный колодец, метро, андеграунд (подземелье).

Назовем еще одну концептуально важную деталь текста - талисман героя повести. Это пластилиновый человечек, замурованный в картонной ракете: "Когда ее делали, начали с этого человечка. Слепили, посадили на стул и наглухо обклеили со всех сторон картоном". Параллельно этому ключевому образу, дорога Омона Кривомазова к подвигу тоже начинается с насилия. Пристегнутый ремнями к кровати, с завязанным ртом, он предстает перед государственной комиссией секретной космической школы при первом отделе КГБ; потом, пристегнутый ремнями к креслу - проходит реинкарнационное обследование в комнате пыток № 329, наконец, высокая миссия нашего героя предстает почти полным аналогом позиции замурованного человечка: "Интересно, придет ли в голову кому-нибудь из тех, кто увидит в газете фотографию лунохода, что внутри стальной кастрюли, существующей только для того, чтобы проползти по Луне семьдесят километров и навек остановиться, сидит человек, выглядывающий наружу сквозь стеклянные линзы? Какая, впрочем, разница. Если кто-нибудь и догадается об этом, он все равно никогда не узнает, что этим человеком был я, Омон Ра, верный сокол Родины, как сказал однажды начальник полета, обняв меня за плечи и показывая пальцем на сияющую тучу за окном".

Подобный прием усиления деталей последовательно проведен Пелевиным и в рассказе "Онтология детства". Медленно, по одному штриху, нагнетая детали, автор показывает смещенный мир человека, давая понять, что речь идет о мире ребенка, растущего в тюремной камере, — фиксирует свои наблюдения поэт и критик Д. Быков (Быков Д. "Синий фонарь" под глазом Букера // Столица. 1994. № 7 (169). С. 59).

Сначала упоминается лежак, потом раскрывается утреннее раздражение, столь характерное для замкнутых пространств, будь то камера или казарма. Раздвижение картины мира сопровождается механическими, нечеловеческими звуками: удар железа воспринимается как удары судьбы. В унисон с ними слышится гудение машин, вой тепловоза, гул самолетов, шум ветра. А далее — чудовищные детали наплывают все более мощным потоком (окруженный забором двор, останки автобусов, похожие на мертвых ос — эмблематика загробного мира — и крыши соседних тюрем), они строят авторскую модель мира как соотносимую со вселенской тюрьмой, из которой нет выхода.

Течение времени в рассказе раскрывается через освоение маленьким зеком тюремного пространства по мере его движения из детства во взрослое состояние. Мир, утверждает Пелевин, остается неподвижным, изменяются лишь человеческое сознание и восприятие. В

детстве все огромное пространство, окружающее человека, представляется ему "замаскированной областью, полной свободы и счастья", со временем же окружающие предметы отчуждаются, теряя свою огромность и таинственность. По мере роста и взросления личности, по пути от свободы к закабалению, картина мира деформируется. Вначале это самое солнечное и счастливое место, потом самое лучшее место понемногу блекнет, в нем открываются трещины, невыносимой становится его вонь, наконец, возникает понимание того, "что ты родился и вырос в тюрьме, в самом грязном и вонючем углу мира" (С. 266).

Пелевин убеждает нас в том, что трансформации претерпевают не предметы, а человеческое сознание, меняется человек, и только в одном направлении: "летишь куда-то вниз — и нельзя остановиться, перестать медленно падать в никуда — можно только подбирать слова, описывая происходящее с тобой" (С. 266). Жизнь маленького зека из рассказа "Онтология детства" вырастает, таким образом, до размеров всеобщей метафоры, а повседневная, тривиальная речь, будучи подчеркнуто интонированной и аранжированной Пелевиным в этом направлении, становится той речевой формой, которая наиболее адекватно отражает внутренне противоречивую авторскую интенцию — показать безысходность движения человека по жизненному пути и одновременно дать ему, идущему по этой таинственной и тяжкой дороге, урок мужества: "Видно, побеги иногда удаются, но только в полной тайне, и куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он сам" (С. 267).

Как видим, лингвистические эксперименты писателя носят разнонаправленный характер, деконструкция словесной формы проявляется отнюдь не однозначно. Разрушая старый "новояз", художник создает другое "новоречение" — индивидуально-авторское, функционирующее только в пределах авторских текстов, в результате — возникает так называемый "внутренний язык" — неопределенно-мистический, эзотерический язык для посвященных (для убедившихся, по Пелевину). На его создание нацелен круг специфических, свойственных именно этому писателю стилевых приемов, среди них — метафоризация тривиальных деталей, наращивание эзотерической семантики местоимений, эвфемистические конструкции и многообразные эклектические словесные совмещения, направленные на деканонизацию привычных, но устаревших штампов в речевом сознании современного читателя.

Название лица в языке и художественном тексте

© Ю. Ю. УШАКОВА, кандидат филологических наук

В лингвистической литературе довольно распространено мнение, что названия лиц не характерны для творительного сравнения (см., например: Кононенко В.И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке. Киев, 1970. С. 44). Такой взгляд слишком категоричен, ведь наименования лиц в творительном сравнения мы часто встречаем в сочетаниях: держаться молодцом, барином; ходить имениником, жить анахоретом, монахом, бобылем; глядеть героем, смотреть женихом, имениником; выглядеть мальчишкой и т.п. Названия лиц здесь не только возможны, но и отличаются тематическим разнообразием социальных групп, возрастных категорий и рода занятий.

Ограничения в названиях лиц касаются, во-первых, значения глагола в конструкции и, во-вторых, значения самого существительного.

В норме языка — иметь название лица в творительном сравнения при глаголах пребывания в состоянии, произведения впечатления. Это значение регулярно развивают глаголы бытия, движения, положения в пространстве, глаголы самочувствия и ощущения: жить, держаться, ходить, сидеть, выглядеть, смотреть, смотреться и пр.

Такие глаголы имеют и вполне определенный набор существительных. Так, глагол жить предполагает в творительном сравнения название лица с устойчивыми признаками, связанными с образом жизни (жить монахом, затворником, королем, королевой, барином); глаголы держаться, ходить, сидеть, смотреть - название лица с устойчивыми признаками, связанными с его поведением (держаться барином, сидеть именинником, смотреть героем, Наполеоном, ходить женихом); глаголы выглядеть, смотреться – название лица с устойчивыми признаками, связанными с его внешностью или производимым им внешним впечатлением (выглядеть ангелом, ребенком, цыганкой, купчихой, героем, барином). Надо отметить, что в данном случае глаголы близки к связочным. Сюда же можно отнести и сочетания с глаголами самочувствия и ощущения (чувствовал себя рыцарем, принцем, героем, победителем, убийцей и пр.), при которых творительный близок к именной части сказуемого, но все еще сохраняет значение характеристики действия.

В зависимости от тематической группы существительные, называющие лица, развивают те или иные признаки, "связанные с тем стереотипом денотата (конкретного лица. – Ю.Ю.), который в общественном сознании является типичным представителем людей этого социального статуса" (Ермакова О.П. О синтаксической обусловленности и синтаксической подвижности метафор // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова). М., 1995. С. 142–149), за счет этого и становится возможным сравнительное значение творительного падежа. Так, признаки, касающиеся образа жизни и производимого внешнего впечатления, развивают в основном названия социального положения человека: жить королевой, барином, бомжом и выглядеть королевой, барином, бомжом. Названия профессий, рода занятий указывают на признаки только внешнего вида, а не образа жизни: выглядит фотомоделью, грузчиком, но не живет фотомоделью, грузчиком.

Особенностью названия лиц в творительном сравнения является то, что, по сравнению с другими тематическими группами существительных, в этой конструкции они, во-первых, всегда несут в себе образную характеристику субъекта сравнения, а не только характеризуют действие (то есть этот творительный всегда имеет образное значение) и, во-вторых, несмотря на явный характер языкового штампа, эта тематическая группа существительных оказывается открытой для новой лексики. Можно предположить, что процесс активного приписывания сознанием носителей языка постоянных внешних признаков представителям различных профессий даст возможность этой лексике естественно использоваться в творительном сравнения: выглядеть фотомоделью, учительницей, президентом, сенатором, трактористом, оперным певцом и т.п., то есть список названий лиц в этой конструкции может продуктивно пополняться существительными данной тематической группы.

Другая сфера функционирования и развития творительного сравнения с названием лица — художественная речь, в которой эта конструкция может передавать как временное, так и постоянное состояние субъекта сравнения, — причем, как собственное восприятие им себя, так и восприятие его окружающими, либо оба эти взгляда одновременно: "Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами" (Бунин. Курсив в цитатах наш. — H.M.).

Для творительного сравнения с названием лица характерны глаголы с семантикой "пребывать в состоянии", "производить впечатление". Художественная речь, используя это, стремится расширить их состав. Нужное значение могут развивать глаголы, чья семантика в большей или меньшей степени приспособлена для этого. Например: "Ехали мы туда... чуть не две недели, — я бабой, в лаптях, он в истер-

том казачьем зипуне... (Бунин) – глагол движения, для ряда которых в языке естественно развитие значения "пребывать в состоянии", "производить впечатление"; "До рассвета рабыней проспала госпожа..." (Северянин) – глагол физического состояния, который метонимически связан с глаголами положения (лежать, пролежать), также получающими в языке такое значение; "Не безгласным рабом, Проклиная житье, А свободным орлом Допою я ее" (Клюев) – здесь допою значит доживу (глагол бытия).

Художественная речь вносит в конструкцию новый субъект сравнения, активно используя прием олицетворения, свободно привлекая и названия животных, и неодушевленные реалии. Приведем примеры, где в качестве субъектов сравнения выступают животные: "К ним бежит букашка божья, бедной барышней бежит..." (Окуджава); "Выглядел кот настоящим султаном, богатым, спокойным и сдержанным" (Донцова); растения: "...И не бабушкой старой береза, А девчоночкой светлой стоит" (Есенин); части тела: "...Все же сердце у меня в груди Маленьким боксером проживает" (Светлов); предметы как естественного, так и искусственного происхождения: "За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупные оранжевые искры..." (Бунин); "И комната крестьянкою крестила тенями, как перстами, в полусне... ту барышню" (Евтушенко); "Оставим площадь – вечно возлежать прелестной девой возле водоема" (Ахмадулина); явления природы: "Дождь пьяным шатался" (Смеляков); "Метель, стучись утопленником голым" (Есенин); отвлеченных реалий: "легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза" (Гоголь); "Тоска пассажиркой скользнет по томам..." (Пастернак).

Семантически приравнивая при олицетворении предметы и явления к лицам, художественная речь опирается на языковую норму, для которой естественно употребление творительного сравнения — названия лица при глаголах со значением "пребывать в состоянии", "производить впечатление": "Солнце стражем стоит у ворот" (Есенин); "И осень тихою вдовой Вступает в светлый терем свой" (Бунин).

Расширяя границы языковой нормы, художественная речь может использовать "чужой" для языковой конструкции признак или объект.

При традиционном для языковой конструкции признак или об вект. При традиционном для языковой конструкции глаголе может употребляться название лица, не соответствующего ему своим значением: "...Все же сердце у меня в груди Маленьким боксером проживает" (Светлов). С одной стороны, глагол бытия проживать типичен при названии лица в творительном сравнения, но, с другой стороны, как уже говорилось, в языке признаки образа жизни развивают названия социальных групп, а не названия профессий, рода занятий, к каким относится существительное боксер. Такое употребление становится возможным в художественной речи, но только при субъекте сравнения — не-лице.

В художественных текстах мы можем встретить такое употребление лица в творительном сравнения, которое обусловлено только конкретным контекстом: "Человек сидит рыбаком у моря смертей..." (Хлебников); "... пока я топал ангелом в защитной простыне" (Окуджава). Только контекст у моря смертей, в защитной простыне делает понятным присутствие в творительном существительных рыбак и ангел. В художественном тексте встречаются конструкции с творительным сравнения — названием лица, где между творительным и действием существует традиционная смысловая несовместимость: "ангелом бился за жизнь человека..." (Окуджава).

В лингвистической литературе высказывалось мнение о том, что существительное в творительном сравнения может иметь только значение обобщенного образа (В.В. Туровский. КАК, ПОХОЖ, НАПО-МИНАТЬ, ТВОРИТЕЛЬНЫЙ СРАВНЕНИЯ: толкование для группы квазисинонимов // Референция и проблемы текстообразования. М., 1988. С. 130–145). Это, безусловно, справедливо для языка, тем не менее, в художественном тексте названия лиц в творительном сравнения могут и не приобретать окончательного обобщенного значения, а обозначать вполне конкретные, единичные лица. Это наблюдается при именах собственных, которые вряд ли приобрели в языке полную нарицательность: "Я желал бы Филимоном Под вечер, как всюду тень... Изъяснять любовну муку; "Иль смотришь в темну даль Задумчивой Светланой Над шумною Невой?"; "Она Ленорой при луне со мной скакала на коне" (Пушкин); "...опалом пагубным всплывала и Анной Павловой плыла [черемуха]"; "Выйдешь Офелией... Станешь цветы пустоты, плача, сбирать..."; "В пекле казни горю Иоанною д'Арк, свист зевак, лай собак, а я так молода" (Ахмадулина).

Возможно, самые удачные, выразительные с художественной точки зрения индивидуальные конструкции рождаются на грани языковой нормы, то есть в непосредственной близости от нее, что дает возможность "обыграть" точки соприкосновения с языковой традицией, совместить в себе понятность и неожиданность, очевидность и невероятность, которые, как представляется, одинаково нужны художественному слову. Причем реально повредить ему может как раз не "очевидность", а именно "невероятность".

Итак, во-первых, названия лиц в творительном сравнения не только традиционны для языка, но и предполагают дальнейшее пополнение своего состава, прежде всего за счет названий лиц по профессиям, роду занятий. Во-вторых, эти конструкции достаточно активно используются художественной речью, характерной чертой которой является, с одной стороны, опора на языковую норму, а с другой — стремление выйти из-под ее жесткого контроля.

Переводы и переводчики



Игра слов в английском оригинале и в переводе

© О. В. ТРОИЦКАЯ

Игра слов распространена практически во всех жанрах английской художественной литературы: от комедии до трагедии, от сказки до детективного романа. Этот прием присущ авторскому стилю У. Шекспира, О. Уайльда, Л. Кэрролла и других выдающихся английских авторов. Однако довольно часто при переводе на русский язык их произведений авторская игра слов утрачивается, заменяясь передачей содержания фрагмента подлинника в некаламбурной форме. Такого рода преобразование встречается не только в переводах развлекательной литературы, где пометка "непереводимая игра слов" – не редкость, но и в переводах самых авторитетных классиков.

Например, переводчику романа Ч. Диккенса "Оливер Твист" не удалось сохранить каламбур, основанный на обыгрывании омонимов "board" – "совет, правление, коллегия" и "board" – "стол" (устаревшее). Комизм ситуации состоит в том, что растерянный Оливер неправильно понимает просьбу Бамбла, путая одинаково звучащие в английском языке слова "совет" и "стол": он в недоумении ищет глазами предмет мебели, которому почему-то нужно поклониться и, увидев стол, за которым сидят члены совета, на свое счастье, кланяется ему. В переводе А. Кривцовой каламбур не передан, и комический эффект в значительной степени теряется: «"Поклонись совету", — сказал Бамбл. Оливер смахнул две—три еще не высохшие слезинки и, видя перед собой стол, по счастью, поклонился ему» (Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. М., 1976. С. 11).

Авторская игра слов не сохранена и в названии пьесы О. Уайльда "Как важно быть серьезным". В оригинале название ("The Importance of Being Earnest") содержит каламбур, построенный на обыгрывании омофонов (слов, которые произносятся одинаково, хотя пишутся поразному) "earnest" — серьезный" и "Ernest" — "Эрнест" (мужское имя). Смысл каламбура открывается англоязычному читателю по ходу действия пьесы. Для русскоязычного читателя эта многозначность заглавия оказывается утраченной.

Трудности, с которыми сталкивается переводчик, обусловлены не только субъективными факторами: способностью распознать каламбур в тексте оригинала, виртуозным владением родным языком и чувством юмора, которые необходимы для передачи игры слов. Они объясняются объективными различиями двух языков.

Чтобы успешно преодолеть эти трудности, переводчик должен иметь ясное представление о сущности, назначении и механизмах создания каламбуров, а также об основных способах передачи авторской игры слов, используемых признанными мастерами перевода. Это и будет предметом настоящей статьи, где в качестве примеров приводятся фрагменты переводов сказок Л. Кэрролла "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье" — сказок, в которых игра слов во многом определяет характер стиля.

Как стилистический прием игра слов служит созданию комического эффекта, выражению отношения автора к высказываемому, к читателю, речевой характеристике героев и т.д. Назначение игры слов в переводе должно быть тем же, что и в тексте оригинала. И, конечно, каламбур должен сохраняться в репликах тех персонажей, которым он принадлежит в подлиннике.

Игру слов можно рассматривать двояко: с точки зрения формы и с точки зрения семантико-смыслового содержания. Формально каламбур состоит из одинаковых или сходных по звучанию или написанию (но разных по значению) элементов высказывания (слов, словосочетаний и пр.) и основного контекста. Фонетически или графически тождественные или сходные элементы высказывания составляют ядро каламбура (так, "board" – "board", "earnest" – "Ernest" – ядра каламбуров, уже приведенных нами). Основной контекст подготавливает читателя к восприятию игры слов. Он может быть представлен одним словом, предложением, группой предложений или всем текстом произведения. Так, контекстом, позволяющим понять смысл игры слов в заглавии комедии О. Уайльда "Как важно быть серьезным", является весь текст пьесы. Семантика каламбура обусловлена значением элементов его ядра.

Семантико-смысловое содержание игры слов включает информацию о теме и предмете каламбура, об эмоционально-оценочном отношении к ним, а также о социальных характеристиках персонажей и

автора произведения. Эти сведения могут передаваться посредством слов и словосочетаний, имеющих ярко выраженную стилистическую окраску (см.: Якименко Н.В. Каламбур как лингвистический прием в английском языке и пути его воссоздания в переводе. Автореф. Киев, 1984).

Способ создания каламбура определяется характером отношений между словами или словосочетаниями, составляющими его ядро. Можно назвать несколько типологических разновидностей игры слов, основанной на:

- слов, основанной на.
 омонимии (в этом случае элементами ядра каламбура являются омонимы, омофоны, омографы слова, имеющие одинаковое звучание или написание, но разные по значению;
 паронимии и созвучия (здесь элементами ядра каламбура явля-
- паронимии и созвучия (здесь элементами ядра каламбура являются слова, звучащие похоже, но при этом совершенно разные по смыслу);
- ложной этимологии (то есть умышленно неверном толковании значения одного из элементов ядра каламбура с опорой на другой его элемент; при этом между этими элементами, в языке этимологически не связанными, произвольно устанавливается семантическое родство);
- не связанными, произвольно устанавливается семантическое родство);

 полисемии (в качестве элементов ядра каламбура выступают центральное и одно из второстепенных значений многозначного слова);
- авторском переосмыслении устойчивых словосочетаний и фразеологизмов (здесь элементами ядра каламбура являются фразеологическое значение словосочетания и совокупность прямых значений составляющих его слов).

Существует два основных способа перевода авторской игры слов. Это, во-первых, создание структурно-функциональных эквивалентов каламбуров оригинала и, во-вторых, передача содержания авторского каламбура в некаламбурной форме, но в этом случае происходит переводческая потеря стилистического приема. Она должна восполняться с помощью новых, созданных переводчиком каламбуров, которые компенсируют потерю и потому могут быть названы компенсирующими. При этом нежелательно использовать лексику с не свойственной автору экспрессивно-стилистической окраской.

Используемый механизм создания каламбура может совпадать с оригиналом или же отличаться от него.

Так, авторская игра слов, основанная на омонимии, чаще всего также передается каламбуром на базе омонимии, созвучия или полисемии (при этом полностью изменяется семантика ядра и происходит замена образа). В качестве примера можно привести каламбур, основанный на омофонах: "not" — отрицательная частица и "knot" — существительное "узел" из третьей главы "Алисы в Стране Чудес", в которой Мышь рассказывает "грустную историю про хвост".

В переводе Н. Демуровой элементами ядра соответствующего каламбура становятся два значения введенного многозначного слова "вынести" – 1) "вытерпеть, выдержать" и 3) "неся, доставить наружу, за пределы чего-то": «"Ты не слушаешь!" – строго сказала Алисе Мышь. "Нет, почему же, – ответила скромно Алиса. – Вы дошли уже до пятого завитка, не так ли?" "Глупости! – рассердилась Мышь. – Вечно всякие глупости! Как я от них устала! Этого просто не вынести!" "А что нужно вынести? – спросила Алиса. (Она всегда готова была услужить.) – Разрешите, я помогу!"» (Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье (Пер. с англ. Н. Демуровой. М., 1992. С. 39; курсив автора, полужирный здесь и далее наш. – О.Т.).

Авторская игра слов на основе паронимии может передаваться на языке перевода каламбурами аналогичного типа, либо основанными на ложной этимологии, а также с помощью компенсирующих каламбуров.

буров.

При переводе каламбуров, основанных на ложной этимологии, способ создания приема обычно сохраняется, но неизбежно происходит изменение семантики ядра. Вот, например, как звучит такой каламбур из "Алисы в Стране Чудес" в переводе Н. Демуровой: «"Если хочешь, — сказал Грифон, — я тебе много могу еще про треску рассказать! Знаешь, почему ее называют треской? <...> Треску много" <...> Алиса растерялась. "Много треску?" — переспросила она с недоумением. "Ну да, — подтвердил Грифон. — Рыба она так себе, толку от нее мало, а треску много"» (Там же. С. 112). Ядро авторской игры слов "whiting" — "мерланг" и "whiting" — "мел для побелки" в переводе заменяется на ядро "треска" — "треск, трещать".

Каламбуры, основанные на авторском переосмыслении фразеологизмов и устойчивых словосочетаний, обычно строятся по "схеме"

гизмов и устойчивых словосочетаний, обычно строятся по "схеме" оригинала. Способы воссоздания таких каламбуров разнообразны.

Один из них предполагает определение значений обыгрываемого фразеологизма или устойчивого словосочетания и подбор его функционального эквивалента в языке перевода. Так переводится каламбур из девятой главы сказки "Алисы в Зазеркалье", основанный на буквализации устойчивого словосочетания "to answer the door" – "открыть дверь (на стук или звонок)". Это словосочетание предстает не только в своем обычном значении, но и как совокупность прямых значений входящих в него слов: "to answer" – "отвечать", "the door" – "дверь", "to answer the door" – "ответить двери (на вопрос)".

В переводе Н. Демуровой этот эпизод выглядит так: «Алиса долго стучала и звонила, но все было напрасно. Наконец, старый Лягушонок, сидевший невдалеке под деревом, встал и медленно заковылял к Алисе <...> "В чем дело?" – спросил он хриплым басом <...> Алиса рассерженно повернулась. "Где привратник? – гневно начала она. – Почему никто не подходит к двери?" <...> "Как это, "не подходит к двери"? – переспросил Лягушонок. – Ты же к ней подошла!"» (Там же. С. 282). Другой способ перевода каламбуров этого типа состоит в том, что

Другой способ перевода каламбуров этого типа состоит в том, что переводчик выделяет ключевое слово среди элементов устойчивого словосочетания, обыгрываемого автором, и создает каламбур на основе одного из существующих в русском языке устойчивых выражений с этим словом (или словом, относящимся к той же предметной области). Примером может служить выполненный Л. Яхниным перевод каламбура из пятой главы "Алисы в Зазеркалье", построенного на буквализации выражения "to catch a crab" – "поймать леща", т.е. сделать неудачный гребок веслом, погрузить его слишком глубоко. «"Суши! – покрикивала Овца... – Грести ты, наверное, научишься, когда рак на горе свистнет". "Ой, как бы мне хотелось подержать в руках маленького хорошенького рачонка!" – подумала Алиса. "Ты слышала, что я тебе сказала? Суши весла!" – разъярилась Овца... "Как же я могу их сушить в воде? – рассердилась Алиса. – Вы бы лучше сказали, где раки? И почему они не в реке, а на горе?"» ["краб" и "рак" – животные, живущие в воде и имеющие внешнее сходство] (Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье // Пионер. 1992. № 3–4. С. 39, 40).

И, наконец, еще один способ перевода авторской игры слов, основанной на устойчивых словосочетаниях, предполагает использование для построения каламбура фразеологизма, семантически и функционально не тождественного исходному, но который, тем не менее, контекстуально уместен, в некотором роде близок по смыслу употребленному в подлиннике, как в переводе приведенного выше каламбура, выполненном Н. Демуровой: «"Не зарывай! На зарывай! – кричала Овца <...> — Что это ты там, ворон считаешь? "А воронята такие славные! — подумала Алиса. — Как бы мне хотелось одного!" "Ты что, не слышишь? — сказала сердито Овца <...> — Я тебе говорю: не зарывай!" "Еще бы не слышать! — отвечала Алиса. — Вы только это и говорите! <...> Скажите, а где же вороны?" "В небе, конечно! Где же им еще быть!" — сказала Овца» (Указ. соч. С. 222).

Передача авторской игры слов, основанной на полисемии, как правило, требует изменения семантики ядра. В некоторых случаях этот тип игры слов представляет известную сложность для перевода и передается в некаламбурной форме, при этом переводчик обычно создает компенсирующие каламбуры. Примером здесь могут служить каламбуры, в которых обыгрываются несколько значений глагола "to draw" – 1) "вытаскивать, черпать" и 2) "рисовать", 3) "извлекать" – из седьмой главы "Алисы в Стране Чудес". В этой главе Соня пытается рассказать участникам "безумного чаепития" сказку о трех сестричках (в результате же слушателям и читателю с трудом удается понять, чем занимались странные сестрички – рисованием или "вытаскиванием" и "извлечением").

Н. Демурова (так же, как и А. Щербаков) передает эту игру слов рядом компенсирующих каламбуров, созданных вместо утраченных и основанных на нарушении целостности фразеологических единиц и созвучии: «"И надо вам сказать, что эти три сестрички жили припиваючи…" "Припеваючи? – переспросила Алиса. – А что они пели?" "Не пели, а пили, – ответила Соня. – Кисель, конечно". <...> она [Алиса] осторожно спросила: "Я не понимаю... Как же они там жили?" "Чего там не понимать, - сказал Болванщик. - Живут же рыбы в воде. А эти сестрички жили в киселе" <...> "Но почему?" - спросила Алиса Соню <...> "Потому что они были кисельные барышни. <...>, Так они и жили, – продолжала Соня сонным голосом <...> – как рыбы в киселе. А еще они рисовали... всякую всячину... все, что начинается на M". "Мен тоже хотелось бы порисовать, — сказала она [Алиса] наконец. — У колодца". "Порисовать и уколоться?" — переспросил Заяц <...> "...начинается на M, — продолжала Соня. — Они рисовали мышеловки, месяц, математику, множество... Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?» (Указ. соч. С. 84-85).

При переводе каламбура далеко не всегда можно сохранить способ его создания. Также крайне редко удается сохранить в первозданном виде семантику авторской игры слов, которая в переводе обычно строится на частично или полностью измененной семантической основе. В первом случае семантика одного из элементов ядра исходного каламбура сохраняется, во втором – нет (см.: Якименко Н.В. Указ. соч.).

Элементы нового ядра каламбура переводчик может найти в ближайшем контексте, среди соседних слов. Кроме того (и этот путь более предпочтителен и распространен), он может использовать в качестве элементов ядра своего каламбура слова, относящиеся к той же предметной области, что и компоненты исходной игры слов. Так, ядро каламбура "to say bow-wow" ("лаять") – "boughs" ("ветки") в переводах эпизода в саду говорящих цветов из "Алисы в Зазеркалье" трансформируется в ядра, содержащие названия деревьев: "дуб" – "дубасить" (Н. Демурова), "граб" – "сГРАБастать", "как ГРАБли" (Л. Яхнин), (п. демурова), трао — сттавастать, как ттавли (п. яхнин), "тополь" — "топнуть" (А. Щербаков). В русском языке звуковая близость между словами "лай, лаять" и "ветки" отсутствует, поэтому Н. Демурова так строит игру слов: «"А дуб на что? <...> Он хоть кого может отдубасить, — сказала Роза. — Что-что, а дубасить он умеет!". "Потому-то он и называется дуб", — вскричала Маргаритка» (Указ. соч. C. 174).

Тот же подход мы видим при переводе каламбура из разговора Алисы с Черной и Белой Королевами из девятой главы "Алисы в Зазеркалье", построенного на обыгрывании омофонов "flour" [flaue] – "мука" и "flower" [flaue] – "цветок".

В переводе Н. Демуровой этот отрывок звучит так: «Тут в разговор снова вмешалась Черная Королева. "Перейдем к домоводству, –

сказала она. – Откуда берется хлеб? Отвечай!". "Это я знаю, – радостно начала Алиса. – Он печется...". "Печется? – повторила Белая Королева. О ком это он печется?"» (Указ. соч. С. 278). В ядро каламбура перевода (также как и в ядро каламбура оригинала) входит слово, связанное с процессом приготовления хлеба, – "печь (хлеб)" – "печься о ком-либо". То же можно наблюдать и в других переводах данного эпизода, где элементами ядра являются слова: "сажать" (в печь) – "сажать" (в землю) (перевод Л. Яхнина), "тесто" – "те сто", "дрожжи" – "дрожи" (перевод А. Щербакова).

Чтобы адекватно передать авторскую игру слов, переводчик прежде всего должен правильно понять всю глубину ее значения.

Например, возражение Шалтая-Болтая на слова Алисы "...one can't help growing older", представляющее собой один из самых тонких, мрачных и трудно уловимых кэрролловских софизмов: "One can't, perhaps... but two can" в переводе А. Щербакова превращается в не более чем детскую нелепицу: «"Просто никто не может остановиться и дальше не расти". "Раз Никтоня может, — ответил Пустик-Дутик, — значит, и все прочие могут. Как следует взяться — и ты бы дальше не росла"» (Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Зазеркалье. Про то, что увидела там Алиса // Кэрролл Л., Уайльд О., Киплинг Р. Приключения Алисы в Стране Чудес: Зазеркалье. Сказки. Маугли. М., 1989. С. 135).

Гораздо точнее перевод Н. Демуровой: «"Все растут! Не могу же я одна не расти!" "Одна, возможно, и не можешь, — сказал Шалтай. — Но вдвоем уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь на помощь — и прикончила б все это дело к семи годам!"» (Указ. соч. С. 229–230).

Ошибки при переводе каламбуров могут быть связаны и с созданием игры слов, основанной на лексике, которая незнакома или малознакома читателю.

Научное описание принципов перевода каламбуров открывает новые возможности для совершенствования переводческого мастерства.

ФОРМЫ ОВЕЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКСТА*

© В. Г. КОСТОМАРОВ.

действительный член Российской академии образования

...У мира книжности были все основания притязать на царственную роль в коммуникативной жизни общества и на главенствующую роль в языковом развитии, в установлении правильности, утверждении общей нормы.

Г.О. Винокур метко заметил, что при письме (т.е. действуя в мире книжности) человек "принужден думать о своем языке, выбирать слова и выражения, т.е. действовать стилистически... все мы в известном смысле беспомощны перед чистым листом бумаги" (Культура языка. М., 1929. С. 168–169). Эта беспомощность, заставляющая думать, книжно, литературно обрабатывать свой текст (в отличие от нашей самоуверенности в стихии обычного разговора, где помогает сама обстановка и личный контакт), идет не от различий письменной и устной форм, а от стилевого давления. Во многих случаях это давление заставляет нас и в устном разговоре тоже искать верное слово – как бы точнее сказать, не обидеть и пр. Нас отнюдь не пугает бумага, когда мы на бегу пишем бытовую записку, требующую разговорности, но беспомощны на публике перед микрофоном или телевизионной камерой. Книжные тексты в наше время уже далеко на всегда относятся к письменному общению, разговорные – к устному.

Нынешняя оппозиция устности и письменности, выросшая из желания рельефно выявить и очертить собственно стилевые обусловленности группировок текстов и в известной мере упростить суть стилистики текстов, весьма условна и позволяет рядоположить устность и письменность с другими формами их реализации. Но она иного рода, нежели другие формы овеществления текста. Ее, например, просто не могло быть в дописьменную эпоху, как нет ее и в нынешних бесписьменных языках, тогда как монолог (скажем, в обращениях князя к дружине перед сражением, в заклинаниях языческого проповедника), стихотворные произведения в фольклоре (не говоря уже о пении и оформляющей высказывание жестикуляции) явно есть и были во всех языках. Самое противопоставление письменности и изустности, искус-

^{*} Публикуемый материал — фрагмент из новой книги В.Г. Костомарова "Наш язык в действии. Очерки современной стилистики", вышедшей в московском издательстве "Гардарики". См. также: Русская речь. 2005. № 1.

ственного явления (письмо – несомненное изобретение человека) и естественного, относительно. Оно во многом просто закреплено отмеченной многословной неразберихой терминов, которая сильно запутывает проблему классификации текстов и описания их крупных группировок, даже самое понимание языка и его употреблений ("разновидностей употребления").

новидностей употребления").

Виртуальный мир книжности принес миру реальному неисчислимые выгоды и достоинства, обеспечив, в частности, совершенство, богатство, выразительность самого русского языка и разветвленную стилевую систему его употреблений, соответствующую усложнющейся коммуникативной жизни общества. Очевидны и сомнительные следствия его возвышения, среди которых не столько непомерное преклонение перед написанным словом, сколько неправомерное принижение разговорной стихии, а заодно и непочтительное отношение к слову произносимому. Его присутствие в книжном мире, в том числе и животворящее влияние на книжные, прежде всего беллетристические тексты, а через них и на весь литературно-нормативный язык, как бы не замечается; в нем видится лишь форма разговорных бытовых текстов, оно ассоциируется с их строением и отбором средств выражения. Возникает желание увидеть, наряду с великим языком книжности, еще незамысловатый, грубоватый, простоватый "разговорный язык", лишенный даже — подумать страшно! — качества фиксации, хранения, воспроизводства. Возникает идея свести русский язык к книжной форме, а разговорную отбросить на задворки, приравнять ее к диалектной, жаргонной, просторечной.

Наивность, если не вред, этой психологии скрыта, но не мала. Из нее нелепо следует, что носители русского литературного языка в неофициальной обстановке, т.е. основное время своей коммуникативной жизни, общаются на нелитературном языке. Разумеется, устное, звучащее слово от этого не потеряло своего истинного значения как в историческом истоке, так и в текущей современности. Народная му-

Наивность, если не вред, этой психологии скрыта, но не мала. Из нее нелепо следует, что носители русского литературного языка в неофициальной обстановке, т.е. основное время своей коммуникативной жизни, общаются на нелитературном языке. Разумеется, устное, звучащее слово от этого не потеряло своего истинного значения как в историческом истоке, так и в текущей современности. Народная мудрость Греции и России, вообще Востока (у Платона: "доверяй слову больше, чем письму") подтверждает его извечную основательность пословицей "Слово не воробей – вылетело, не поймаешь", но в то же время подтверждает (может быть, не без римско-западного влияния) и особую значимость слова книжного, даже вообще написанного, зафиксированного: "Что написано пером, того не вырубишь топором". Гений А.С. Пушкина, несомненно, различал письменные (то есть, конечно книжние) и разголории в применения единого русского язы-

Гений А.С. Пушкина, несомненно, различал письменные (то есть, конечно, книжные) и разговорные применения единого русского языка. По его мнению, «писать единственно языком разговорным — значит не знать языка... Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения "сей" и "оный", но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим:

"карета, скачущая по мосту", "слуга, метущий комнату"; мы говорим: которая скачет, который метет и пр., заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков» (Полн. собр. соч. в 10 т. Т. VII. М., 1958. С. 479; вспомним не менее известный его призыв "прислушиваться к языку московских просвирен", которые говорят удивительно чистым языком).

Речь идет не о языке и его составе, тем более не о языках в языке, а о разных текстах на едином языке, о стилевой дифференциации общения. Слово "разговорный" употреблено скорее в значении "народный", который "поминутно оживляет" книжные тексты, но отнюдь не в значении "связанный исключительно с бытовым повседневным разговором", "недостойный из-за своей устной формы".

Если звучащее слово, правда, меньше, чем его изображение буквами, всегда привлекало фонетистов, то в стилистике разговорные тексты, органически связанные с устной формой и охватывающие общение людей когда-то исключительно, а сейчас по большей части, долгое время почитались за объект, недостойный научного изучения. Всерьез интерес к ним возник по-настоящему лишь в 60-е годы XX столетия и походил на всеобщую "золотую лихорадку". Не занимаясь сейчас выяснением причин такого поворота, заметим: вновь открытая обширная золотоносная территория, названная разговорной речью, была необъяснимо противопоставлена книжному языку как другой язык, например, в академической книге "Русская разговорная речь" (М., 1973). Отзвуки этой концепции, в которой "речь" именно как система противопоставляется "языку", причем все это происходит, несомненно, в одном и том же русском языке, обнаруживаются в утверждении, что разговорный текст вообще не является литературным.

Влиятельными оказались мысли западных, в основном романских, лингвистов. Например, часто цитируются слова: "У французов язык письменный и язык устный так далеки друг от друга, что можно сказать: по-французски никогда не говорят так, как пишут, и редко пишут так, как говорят. Эти два языка отличаются, кроме различия в подборе слов, также различным расположением слов. Логический порядок слов, свойственный письменной фразе, всегда более или менее нарушен в фразе устной" (Ж. Вандриес. Язык. М., 1937. С. 141). Конечно же, здесь имеются в виду разговорные тексты (обычно выполняемые устно, но – пусть редко! – и письменно) и книжные (выполняемые письменно); никогда здесь явно полемическое. Автору очерков из личного опыта достоверно известно, что, например, лекции А.Б. Шапиро можно было публиковать без редактирования, хотя перед ним никогда не было даже конспекта, что А.А. Реформатский и Д.Н. Шме-

лев, а также, думается, сам Ж. Вандриес обычно говорили так, как писали.

Однако вернемся к основной теме. Хотя обусловленная стилевыми явлениями сознательная установка на средства выражения сегодня явно затмила зависимость текстов от форм воплощения, ощущение различия между тем, "как можно сказать" и "как следует написать", пока не исчезло. Формально-деловые и юридические тексты на деле жестко связаны с монологическим письмом, как и научные, хотя последние могут исполняться и устно, а в диспуте и диалогически. Выражая внеязыковую сущность науки и официоза, их КСВ (конструктивностилевой вектор) отхода от общего языка в расчете на посвященную среду ориентирует на книжность и естественную для нее письменную форму, позволяющие строго регламентировать выразительные средства (что в известной мере сохраняется и в редком их устном исполнении). КСВ, обслуживающий неограниченную тематику быта и среду непосредственного контакта, ориентирует почти исключительно на устное диалогическое овеществление.

устное диалогическое овеществление.

Сегодня все тексты можно и написать, и проговорить, прочитать про себя и вслух (недаром стало столь популярным слово озвучить!), и тем не менее текст научный, как правило, нацелен на вдумчивое чтение, а бытовой — на живой разговор и на соответствующую культурную обстановку, отчего он редко пишется, а составляется без словарно-грамматической насыщенности, с аморфными синтаксическими схемами. Его письменное овеществление влечет за собой (если только не происходит с сохранением условий формы речи, как это бывает, скажем, когда студенты "беседуют" записками на лекции) компенсацию внеязыковых носителей смысла внеязыковыми же приемами — рисунками, схемами, фотографиями при ученом содержании, описаниями — в беллетристике. Кстати, именно в этом одна из причин, почему легче оглашать вслух тексты, созданные для чтения, чем записывать тексты, рождающиеся в устной беседе (если не менять их уже не формальную, а стилевую принадлежность, превращая их в книжные).

Письменная форма, связанная искони и развивавшаяся сугубо в интересах книжности (за исключением выработки достаточно условных и неуклюжих приемов ее передачи в художественных текстах) оказывается просто не приспособленной для воплощения разговорных текстов. Так, наша нынешняя орфография, естественно рожденная в письменной традиции, просто не приспособлена к их фиксации; в этом смысле она, если не ущербна, то явно недостаточна (лингвисты в этих целях прибегают к особым системам транскрипции, нередко на латинице). Забегая вперед: письменный текст, не поддержанный звуком и изображением, на глазах становится трудно воспринимаемым под влиянием масс-медиа — новейшее поколение детей требует сказки с изображением героев и их действий и как минимум прочтения книги вслух.

До недавнего времени был непривычен, неожидан самый факт письменной фиксации разговорного текста. Традиция допускает такое для трагедий и комедий, но и там просто чтение текста вне сценического представления в театре затрудняется необходимостью передать свойственные разговорности стилевые особенности языка. Не будучи специалистом, трудно читать киносценарии – не "записи по картине", ставшие популярным жанром американской литературы, а именно рабочие сценарии, рассчитанные на произнесение, подкрепленное изображением, действием, игрой. Письменная запись любого разговорного текста, даже если в ней зафиксирована интонации, описана жестикуляция и вся "культурная обстановка", непривычна для глаза. Она заметна по причине привычного и несправедливого приравнивания устной формы к стилевой разговорности, а через нее к содержательной бытовщине, чему-то нестоящему: такая запись нарушает наши стилевые ожидания, поскольку излагаемая информация психологически не ассоциируется с книжностью, на которую намекает сам факт записи. Даже ерунда, особенно написанная красиво, воспринимается с уважением.

При нынешнем ослаблении увязки стилевых явлений с формами воплощения текста мы стоим на пороге новых традиция восприятия. Уходит в небытие еще не так давно актуальная проблема "чтения по бумажке", поскольку слушатели чувствительны теперь лишь к нарушению стилевой принадлежности текста и достаточно безразличны к форме его воплощения. Гибнет даже декламация стихов, когда чтец или сам поэт выходит на сцену с книжкой. Не менее отрицательно воспринимается при устном исполнении книжных текстов раскованная непринужденность: докладчик или лектор, читающий специальный научный доклад без конспекта, без демонстрации схем, графиков, слайдов, производит впечатление своей неподготовленности, неуважения к профессиональной аудитории.

Еще в ходе дискуссии по вопросам стилистики было отмечено, что не форма реализации, а стилевая принадлежность текста играет основную роль, что неправомерно списывать на устность и письменность то, что куда в большей степени определяется книжностью и разговорностью. «Представим себе, что мы слышим "гладкую речь" оратора, но затем, познакомившись с письменным докладом того же оратора, обращаем внимание на неуклюжие фразы, как бы расползающиеся в разные стороны... То, что нам казалось очень "гладким" и ясным в устном изложении, может оказаться "корявым" и даже неясным... Встречается и обратное соотношение: иные хорошие стилисты, тонко ощущающие особенности письменного изложения, в устном пересказе своих мыслей то и дело прибегают к всевозможным и ненужным "значит", "вот", "так сказать" и пр.» (Будагов Р.А. О языковых стилях // Вопросы языкознания. 1954. № 3. С. 64).

Смена преимущественных связей овеществления КСВектора всех книжных и всех разговорных текстов с определенными формами сопровождается их известной "деформирующей" перестройкой. Так, научный текст, излагаемый устно, не перестает быть собою, но не потому, что будто бы приближается к разговорному, а в силу привносимых этой формой новых возможностей выражения, иных способов осуществления вектора научной книжности. Оратор, отдающий стенограмму доклада в печать, и писатель, читающий публично свое произведение, вынуждены обычно перестраивать текст, но причины чаще всего стилевые. Кроме того, обстановка публичного устного выступления может лишь породить в связи с волнением говорящего или шумом аудитории неловкую искусственность, обилие слов-паразитов.

нограмму доклада в печать, и писатель, читающий публично свое произведение, вынуждены обычно перестраивать текст, но причины чаще всего стилевые. Кроме того, обстановка публичного устного выступления может лишь породить в связи с волнением говорящего или шумом аудитории неловкую искусственность, обилие слов-паразитов. Жанровое разнообразие текстов неспецифической книжности исторически опирается на письмо, но генетические устно-фольклорные корни постоянно дают о себе знать, а драматургия связана не менее прочно и с декламацией, стихосложением, монологом, пением. При рассмотрении публицистических текстов, безусловно, книжных, стало ясно, что они одинаково могут реализоваться и письменно, и устно, а жанр ораторской речи даже немыслим вне устного исполнения. Налицо и случаи письменного и монологического оформления разговорных текстов.

ных текстов.

По словам Б. Шоу, «есть пятьдесят способов сказать "да" и пятьсот способов сказать "нет" и только один способ это написать». У письма тоже есть специфические выразительные возможности: кавычки, шрифты, разные написания. Вспомним двойственные интерпретации устно произносимого античного обещания поставить "статую золотую чашу держащую" или средневекового приказа "казнить нельзя помиловать", вполне однозначных при употреблении знаков препинания на письме. В письменном виде невозможна известная шутка А.А. Реформатского: "а бутылка была невинная / не винная". Без постановки не предусмотренного правилами знака ударения плохо читается написанная фраза "Все могут до утра передохнуть" и т.п.

А.А. Реформатского: "а бутылка была невинная / не винная". Без постановки не предусмотренного правилами знака ударения плохо читается написанная фраза "Все могут до утра передохнуть" и т.п. Впрочем, почти всегда осуществим "взаимоперевод" специфических устных и письменных выразительных средств: написаниями вроде "р-р-разойдись", "важно не КАК, а ЧТО", с одной стороны, и произносимыми выражениями типа "талант в кавычках", "человек с большой буквы". Все это дает обильный материал публицистам и составителям рекламных слоганов.

телям рекламных слоганов.

Вопрос о том, все же насколько форма реализации деформирует диктуемый текстам их конструктивно-стилевыми векторами выбор языковых средств и их композицию, не так прост, как кажется и как хотелось бы большинству исследователей. Главенствующая роль либо содержания, либо характера акта общения в стилевой дифференциации разговорных (обычно устных, но и записанных в личных дневниках и записках, неправленных протоколах, стенограммах, письмах)

и специальных книжных (обычно письменных, но нередко и произносимых на инструктажах, в лекциях) текстов вынуждает прибегать к оговоркам вроде "во многом", "преимущественно", "главным образом". Но даже они вполне нормально могут существовать и в той, и в другой форме (хотя вряд ли в песенной, стихотворной...), отнюдь не теряя при этом своих стилевых примет.

Оценивая соотносительные формы словесного выражения, мы не

Оценивая соотносительные формы словесного выражения, мы не можем не обратить внимания на такие очевидные факты, как часто встречающиеся в любых устно реализуемых текстах обращения, вводные слова, присоединительные и бессоюзные типы предложений, эмоционально-экспрессивная, обычно сниженная лексика и фразеология. Все это вызвано тем, что устность, исторически ангажированная, завербованная стилевой разговорностью и потому неправомерно ассоциируемая только с бытовой тематикой, в какой-то степени передает и книжным текстам при их устном исполнении независимо, кстати сказать, от того, были ли они первоначально написаны или нет, разговорные языковые особенности, прежде всего связанные с огласовкой, интонацией, наличием жестов и под. Да и письменная форма испытывает напор технических новшеств: так, из-за принтеров, выравнивающих текст, люди стали меньше пользоваться переносами на следующую строку.

Увлекаясь подобными различиями, мы не должны упустить из виду главное – в любой форме текст сохраняет свои основные стилевые приметы. Теперь благодаря масс-медиа мы привыкаем понимать, что разговорные тексты, записанные или нет, буквами или в живом виде на ленте или диске, могут быть серьезными, содержательно достойными и что устное исполнение книжных текстов богаче, выразительнее, доступнее, человечнее их письменного исполнения.

Тезис: в принципе любой текст без серьезного ущерба для своего КСВ может быть воплощен в любой форме – точно так же, как и любыми выразительными средствами, – отстаивается не просто ради "чистоты рассуждения". Трезвая оценка и истинная расстановка явлений стала возможной, когда технический прогресс нынешней эпохи покусился на уникальность письменности. На переломе тысячелетий человечество оказалось на пороге революции в своем коммуникативном существовании, которую вряд ли можно предотвратить, хотя многим не хочется ее ни понимать, ни принимать. В жизнь ворвались атомные реакторы, реактивные самолеты, космические станции, клонирование, генная инженерия, компьютеры, и, как бы ни возмущался наш русский лингвистический и лингвоцентрический консерватизм, наука и техника радикально изменяют языковое существование, характер общения.

Совсем недавнее изобретение ряда современных технических средств позволяет консервировать, хранить, воспроизводить акты общения без какой-либо условности — в звуке и изображении всей "куль-

турной обстановки" с цветом, движением, разве что без запахов (но это, как уверяют специалисты, дело наживное). Сегодня можно лишь гадать, какие уму непостижимые последствия и возможности несет в себе технический прогресс. Их столь же трудно себе вообразить, как изобретателю письменности — созданный на ее основе виртуальный мир книжности.

высокий темп прогресса инструментария технических средств (иллюстрированная газета, фотография, кинематограф, радио, звукозапись, телевидение, видео, компьютер, цифровая электроника, Интернет...) и материальных носителей информации (та же, что и в книге бумага, светочувствительная пластина, кинолента, магнитная лента, компакт-диск...) несопоставим с многовековым историческим совершенствованием техники письма, а их способности значительно превосходят его, в общем-то, ограниченные возможности. На глазах радиотелефон из диковинки превратился в привычный "мобильник", без которого трудно уже представить себе свою жизнь, и становится своего рода комбайном – гибридом телефона, компьютера, радиоприемника, телевизора и цифровых фотоаппарата и видеокамеры.

Жизнь все больше учит нас не отождествлять привычное, традици-

Жизнь все больше учит нас не отождествлять привычное, традиционное с единственно правильным, а новое – с вредным и нежелательным. Хитроумные машины, позволяющие записывать, хранить, воспроизводить устные тексты, переняли от письменности те качества, ради которых она была создана и которыми была возвышена. Более того, оказались преодоленными те недостатки, которые были ей свойственны. То, что на письме вынужденно компенсировалось вербально—многословно и неполно, с большими затруднениями: обстановка высказывания, интонация, тон и громкость огласовки, жесты, цвет, движения, вся обстановка акта общения, высказывания, текста, теперь легко воспроизводится в первозданном виде.

Соперник оказывается могущественнее и ускоренно строит свой новый виртуальный мир, вырабатывает свой язык. Да простится это только кажущееся умаление гениального величия первого технического изобретения, позволившего воздвигнуть грандиозное здание книжности: перед нами всего лишь принципиально иное техническое решение той же идеи. И, не надо быть провидцем, с не менее грандиозным грядущим результатом!

Подобно до сих пор не закончившемуся поиску названия порождению первого революционного изобретения в языковом существовании людей (письменность, книжность, словесность, писательство, сочинительство, литература...), нет и определенного имени у дитяти нынешнего. Советскую массовую информацию и пропаганду с запретом интернациональной массовой коммуникации незаметно заменило заимствование mass media, которое, обрусев в виде масс-медиа, дало производное масс-медийный (просто медийный и новейшее мульти-медийный), употребляющееся наравне с масс-коммуникативный. Сейчас, ка-

жется, пришлись ко двору термины мир Интернета, интернет-язык, интернет-текст, но они как-то ограничивают называемый предмет, сводя его к "чату". Можно быть уверенным, что следующие изобретения, а их нельзя не ждать, позволят найти более убедительное и удобное название.

ное название.

Сегодня трудно не согласиться с тем, что новый виртуальный мир уже возник, но его воздействие на реальную жизнь все еще непредсказуемо; с ним модно связывать зло, вроде ограблений банков или сексуальных извращений. Даже формирующееся в нем использование языка по большей части производит впечатление произвола и порчи, в какой-то мере, вероятно, по причине извечной боязни и отторжения непривычного, но и в силу естественных "болезней роста". Нет сомнения в том, что становление мира книжности тоже проходило нелегким путем "проб и ошибок", что он тоже приносил людям отнюдь не только добро.

Новый виртуальный мир похож на своего великого предшественника и, будем надеяться, партнера на долгие времена в будущем. Они не конкуренты, но этапы коммуникативного развития человечества. Вряд ли стоит пессимистически бояться, что "голубое нигде" (по заглавию американского романа о преступной деятельности хакеров: из романа "The Blue Nowhere". New York, 2002) погубит книжность. Его пришествие, его неизведанные влияния на реальную жизнь вызывают порой серьезное беспокойство и наивное желание отвергнуть его неизбежность, но трезвые головы начинают серьезно его изучать. Все чаще говорят, например, об "информационном обществе", в которое входит человечество (см. хотя бы: М. Castells. The Information Age: Есопоту, Society and Culture. Vol. 1, 2, 3. Malden, Massachusets, Oxford, 1996). Настала пора всерьез исследовать и его языковую, стилевую сторону.

Виртуальный мир голубого нигде, возвращаясь будто бы в естественное звучащее лоно звукового языка, во многом строится на книжности, а его язык, неизбежно искусственный и вряд ли конкурентоспособный (пока?), без нее вообще немыслим, хотя и обильно подпитывается животворными соками природного языка. Сближая письменность и устность в привычном синхронном их соотношении, попрежнему опираясь на устность как первоначальную форму языка вообще, технические достижения созидают, как сегодня уже ясно, новое, еще неведомое разговорно-книжное (книжно-разговорное) и даже вербально-невербальное коммуникативное пространство текстов, соответствующих наступающему на нашу жизнь новому виртуальному миру. Его язык трудно однозначно назвать устным или письменным: у него принципиально иная форма существования.

Во всяком случае, эпоха обожествления написанного слова, слова

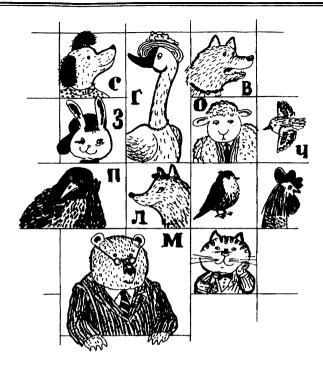
Во всяком случае, эпоха обожествления написанного слова, слова книжного миновала. Сейчас вряд ли будет принято объяснение безграничного почтения к нему тем, что русский народ в массе своей был

неграмотен, или тем, что письменность ассоциировалась с церковью, с православием. Трудно предположить, что современный писатель всерьез начнет свое произведение, как это сделал И.А. Бунин в "Жизни Арсеньева", цитатой: "Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевлении".

Любопытно, как наш словарь реагирует на происходящие изменения способов фиксации и воспроизведения текстов. Глагол писать, этимологически связанный с понятиями "пестрить, рисовать, украшать", теперь значит не только "водить пером по бумаге" или "сочинять", он вполне приспособился к небуквенной записи, знаменуя новое отношение общества к устной речи: (за)писать доклад — это не стенографировать устный текст условными значками, записать концерт — это не описать его словами устно или письменно. Глагол читать, считать" (вспомним однокоренные честь, почет, даже четки) передает или делит обозначение воспроизводства хранимого текста со словами слушать, смотреть (радиослушатель, телезритель) и другими. Приобретшее вдруг большую популярность озвучить, как и старое огласить, совсем не обязательно значит "проговорить" — но и "написать", вообще "довести до сведения". Показательно новомодное заимствование "чат", обозначающее, по общему признанию, некий совершенно особый интернационализирующийся, пусть и на английской базе, вербально-изобразительный "язык" (или интержаргон, новый пиджин?). Пробиваются в жизнь и иные явления, достойные специального изучения.

Как только письмо утратило монополию на фиксацию и хранение текстов, коммуникативная ситуация в обществе начала радикально меняться. Все чаще в учреждениях не требуют машинописных стенограмм, удовлетворяясь записями заседаний на диктофоне, в больницах внедряется магнитофонное ведение истории болезни, в суде принимаются аудио- и видеозаписи в качестве доказательств и улик; на улице никого не удивляют люди с кассетником в кармане и проводками из ушей, а ведь еще недавно удивляющей новинкой было "говорящее письмо". Стенографистку заменил диктофон, машинистку – компьютер, ксерокс сделал ненужной копирку, а кассета, компакт-диск, видео, цифровые носители, наконец, Интернет сделали архаизмами слова грампластинка, кинолента, патефон, кинопроектор.

Соответственно, хотя и с трудом и опозданием, меняется общественная оценка устности и письменности. К устной форме возвращаются общественное признание ее весомости и убедительности, в ней самой без помощи письменной возникают новые жанры, новое разнообразие стилевых явлений, да и новые языковые явления.



люди и звери

© О. Е. ФРОЛОВА, кандидат педагогических наук

То, что человек начал сравнивать себя с животными, давно отражено в фамилиях и в переносных значениях названий животных. И можно предположить, что в основе переноса и в одном, и в другом случае лежит некоторое сходство между человеком и животным.

Довольно велик список фамилий, образованных от зоонимов: Бабочкин, Баранов, Белкин, Волков, Воробьев, Воронов, Жуков, Зайцев, Медведев, Козлов, Коровин, Коровьев, Котов, Кошкин, Котеночкин, Кукушкин, Куницын, Куропаткин, Лебедев, Орлов, Селезнев, Собакевич, Соболев, Соколов, Сорокин, Уткин, Хомяков, Щукин.

Если же обратиться к толковым словарям, то выяснится, что в современном языке насчитывается более ста единиц, предполагающих уподобление человека животному.

Сравним зоонимы, от которых произошли "животные" фамилии, и зоонимы, дающие переносные значения. В первом случае список зоонимов, по данным толковых словарей, больше.

В перечне зоонимов, образующих переносные значения, присутствуют названия таких экзотических для России животных, как обезьяна и крокодил. Фамилию *Обезьянин* можно назвать редкой. Кроме того, среди фамилий есть дериваты от зоонимов, не дающих переносных значений: например, *Соболев*.

Обращаясь к зоонимам, дающим переносные антропоцентрические значения, по "Словарю русского языка" (Словарь русского языка. Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. I–IV – далее МАС) и "Большому толковому словарю" (Большой толковый словарь русского языка. Авт. и рук. проекта С.А. Кузнецов. СПб., 2002 – далее БТС) назовем эти единицы: акула, аспид, байбак, бегемот, блоха, божья коровка, бормотун (название породы голубя), ворона, воронье, вошь, гад, гадюка, гиена, глиста, гнида, голубь, голубица, голубка, гусь, дикобраз, еж, ерш, ехидна, жаворонок, животное, жук, заяц, зверь, зверье, змея, змееныш, индюк, ишак, ищейка, кабан, каракатица, клоп, коза, козел, козявка, корова, бык, теленок, телка, телок, кот, крокодил, крыса, кукушка, наседка, петух, цыпленок, лебедь, лев, львица, лиса, лис, ло-шадь, жеребец, кобыла, кляча, легавый, мастодонт, медведь, медвежонок, морж, обезьяна, агнец, баран, ягненок, орел, осел, ослица, павлин, пава, паразит, паук, пигалица, пиявка, попугай, птица, птенец, рыба, свинья, боров, поросенок, скорпион, скот, скотина, слизняк, слон, собака, пес, сука, кобель, щенок, сова, сокол, сорока, стервятник, стрекоза, тварь, тля, трутень, тюлень, удав, хамелеон, хищник, хомяк, цапля, червь, червяк, черепаха, шавка, шакал, ястреб.

Обычно зооним в переносном значении занимает синтаксическую позицию предиката.

- Перед нами стоят несколько вопросов:

 1) Как распределяются переносные значения по гиперонимам (общим понятиям: птица, рыба, скот и т.д.) и гипонимам (конкретным понятиям: ворона, щука, коза и т.п.)?
- 2) Какие единицы дают максимальное число переносных значений?
- 3) На каких семантических основаниях осуществляется перенос и каким образом можно сгруппировать антропоцентрические значения зоонимов?

Одна важная оговорка: мы делаем наши выводы на основании данных, почерпнутых из толковых словарей второй половины XX и начале XXI века, т.е. речь идет о тех значениях, которые язык уже осознал.

Посмотрим, как распределяются переносные значения по разным группам зоонимов: названий отрядов и видов. В русском языке не все гиперонимы образуют переносные значения: животное, хищник, скот, скотина, птица, гад, змея, рыба, паразит. Язык демонстрирует некоторую избирательность. В этом списке нет имен млекопитаю-

щее, пресмыкающееся, насекомое. Семантика переносных значений гиперонимов такова:

Xusomhoe - 2. Pase. О человеке грубом, с низменными инстинктами (MAC).

Xищник — 2. Перен. Тот, кто наживается, обогащается на разорении, ограблении, эксплуатации кого-л. $\|$ Тот, кто с целью наживы пользуется средствами, ведущими к истощению природных богатств, к истреблению промысловых зверей, рыб и т.п. 3. Yстар. Похититель, вор (MAC); 2. О безжалостном человеке (БТС).

На примере данного существительного по данным двух словарей видно, что семантика переноса претерпевает изменения.

Проследим, каковы основания переноса в группе гиперонимов, т.е. почему людей называют теми или иными именами животных.

Скот – Прост. презр. О грубом, низком, подлом человеке. || Употребляется как бранное слово (МАС).

Птица – 2. *Разг. ирон.* О человеке, с точки зрения его общественного значения, положения (MAC).

 $\Gamma a \partial - 2$. Прост. бран. Об отвратительном, мерзком человеке (MAC).

Змея – 2. О коварном, хитром, злом человеке (МАС).

Pыба - 2. Pазг. О вялом, медлительном или холодном, бесстрастном человеке (MAC).

 $\Pi a p a s u m - 2$. Тот, кто живет чужим трудом; тунеядец. 3. $\Pi p o c m$. Употребляется как бранное слово (MAC).

В списке зоонимов, по данным толковых словарей, мы обнаруживаем несколько гнезд, в которых переносные значения дают названия вида, мужской, женской особей, а также детеныша. Таких гнезд немного:

свинья, боров, поросенок наседка, петух, цыпленок лошадь, жеребец, кобыла, кляча корова, бык, теленок, телка, телок собака, пес, сука, кобель, щенок

Среди этих групп выделяется одна: наседка, петух, цыпленок, т.к. название особи курица, по данным словарей, не дает переносного значения, словари отмечают лишь фразеологическое словосочетание мокрая курица. В группе лошадь отсутствует название детеныша. Налицо несимметричность семантической деривации и избирательность языка в образовании переносных значений.

В этих семантически связанных группах зоонимов интересно то, что переносные значения не совпадают внутри группы. Проиллюстрируем это на примере группы собака, пес, сука, кобель, щенок.

Собака – 2. Прост. Употребляется как бранное слово. 3. Прост. Употребляется как выражение одобрения, восхищения кем-л. (МАС); 3. Разг. О злом, жестоком, грубом человеке.

Пес – 2. О человеке, вызывающем презрение, негодование своими поступками || обычно с определением. Прост. Употребляется как бранное слово (МАС).

Сука – 2. Груб. прост. Употребляется как бранное слово (МАС); 2. Грубо. О человеке, вызывающем своим поведением гнев, раздражение (обычно женшине) (БТС).

Кобель – Груб. прост. О похотливом мужчине (МАС).

Щенок – 2. Прост. бран. О молодом, неопытном в каком-л. деле человеке, молокососе, мальчишке (МАС).

Теперь обратимся к основаниям, на которых совершается семантический перенос.

Можно выделить первую группу имен осел, животное, цыпленок, где переносное значение обозначает то или иное качество человека.

Ocen – 2. Прост. О глупом, тупом, упрямом человеке (MAC). Животное – 2. Разг. О человеке грубом, с низменными инстинктами (МАС).

Цыпленок – 3. Разг. О наивном, неопытном молодом человеке (юноше или девушке) (БТС).

Как правило, в толкованиях даны качества, которые мыслятся как постоянные. Причем эти качества должны проявляться в каких-то действиях, поэтому между данной группой и следующей, второй, нет жесткой границы. Представители второй группы: змея, ворона, ерш.

3мея - 2. О коварном, хитром, злом человеке (MAC).

Ворона – 2. Разг. О рассеянном, невнимательном человеке (МАС). Ерш – Разг. О неуступчивом, обидчивом, колючем человеке (БТС).

В этом случае в толкованиях присутствует некоторая "акциональная" составляющая: если человек коварен, об этом можно судить, зная о его поступках; если он рассеян, он что-то пропускает, забывает; если же он обидчив, то он определенным образом реагирует на слова и поведение окружающих. В этом случае можно говорить о качестве, эпизодически проявляющемся в действиях – в "акциональной" составляющей. Подобным образом, если кого-то называют змеей, то за этим человеком известны его коварные поступки.

Довольно большую группу составляют зоонимы, в которых перенос произошел на иных основаниях. В третью группу вошли: бегемом, глиста, каракатица, медведь, пигалица, слон, цапля. Для того чтобы сравнить человека с животным, говорящий должен знать, каким образом этот человек выглядит.

Бегемот - 2. Разг. сниж. О крупном, полном, неуклюжем человеке (БТС).

Глиста – 2. Разг. сниж. Об очень худом человеке (БТС).

Каракатица – 2. Прост. О неуклюжем, коротконогом человеке (MAC).

В семантике переносных значений присутствует наблюдатель. Речь идет о постоянных зрительно воспринимаемых характеристиках человека.

Medsedb-2. Past. О крупном, сильном, но грузном и неуклюжем, неловком человеке. \parallel О невоспитанном человеке (MAC). 2. Past. О крупном, сильном, но грузном и неуклюжем человеке (БТС).

Последнее значение по МАС особенно интересно, потому что здесь присутствуют два несовпадающих переноса: на основании внешнего сходства и на основании некоторых черт поведения. В толковании БТС второе толкование не представлено.

Однако с подобным переносом не все представляется таким простым. Сейчас, когда чрезвычайно популярны документальные фильмы о дикой природе, даже городские жители, не увлекающиеся охотой, могут сказать, что в своем поведении в естественных условиях медведь никакой неловкости и неуклюжести не демонстрирует. Фразеологизированное словосочетание мишка косоланый также не вполне понятно в этом контексте. Однако ситуация меняется, если мы вспомним наши впечатления о цирке и номера с дрессированными животными: медведь начинает выглядеть неуклюжим и косолапым, когда поднимается на задние лапы. Поэтому мы предполагаем, что язык зафиксировал здесь не охотничий опыт, а именно впечатления от медведей, которых цыгане водили на цепях, или от выступлений этих животных в цирках, потому что, когда в условиях дикой природы медведь поднимается на задние лапы и движется на охотника – это признак опасности, последний момент перед нападением зверя на человека.

В качестве промежуточного случая между второй и третьей группой можно рассматривать переносное значение зоонима *черепаха* — 3. *Разг*. О крайне медлительном, нерасторопном человеке (БТС). В этом случае толкование можно интерпретировать как качество, проявляющееся акционально, т.е. в некоторых действиях, более того, это качество доступно наблюдению.

Четвертая группа немногочисленна. К ней мы относим зооним *птенец*, который толкуется следующим образом: *перен*. Чей-л. ребенок или ученик, воспитанник (MAC). Вторая часть толкования особенно интересна, потому что ее можно интерпретировать как предикат, выражающий отношения между двумя предметами. Подобными предикатами могут являться существительные *мать*, *отец*, *сын*, *дочь*, *родители*, так как такой предикат определяет позицию одного участника ситуации по отношению к другому: родители есть только при наличии детей. В этой же логике ученик может существовать только при наличии учителя.

Еще одна, пятая, группа зоонимов выделяется на основании анализа поведения человека и соотнесения этого поведения с некоторыми социальными нормами. В эту группу мы включаем существительные заяц, морж, жаворонок, сова, легавый, хамелеон.

Заяц – Разг. Пассажир, не имеющий билета, или зритель, проникший без билета куда-л. (МАС).

Морж – 2. Любитель зимнего плавания в открытых водоемах (MAC).

Легавый – 2. В знач. сущ. Прост. Сыщик, доносчик (MAC). Хамелеон – 2. Перен. Человек, который часто меняет свои мнения, взгляды, симпатии применительно к обстановке или в угоду кому-л. (МАС).

В этой группе могут показаться чужеродными слова жаворонок и сова, но в этом случае речь идет о некотором несовпадении поведения человека с привычками, присущими другим людям, поэтому эти два зоонима, с нашей точки зрения, уместны в данной группе.

Жаворонок – 3. Психол. Организация психики человека, период активности которого приходится на утренние часы; человек такого типа (противоп.: сова) (БТС).

Сова – 3. Психол. Организация психики человека, период активности которого приходится на ночное время; человек такого типа (противоп.: жаворонок) (БТС).

Шестую группу составляют преимущественно названия мужских особей животных: кот, жеребец, кобель. В этом случае семантический перенос совершается на основании поведения мужчины по отношению к представительницам противоположного пола.

Кобель – Груб. прост. О похотливом мужчине (МАС).

Кот – 2. Разг. О похотливом, сластолюбивом мужчине. 3. Жарг. О

сутенере (БТС).

В толковании переносных значений зоонима кот мы также можем наблюдать два основания переноса: социальное (сутенер) и гендерное (похотливый мужчина) поведение.

Седьмую группу могут составить слова, толкования которых словарь не развертывает, а ограничивается пометой стилистического характера: *бранное слово*. Таких зоонимов достаточно, причем часто подобные непроясненные значения соседствуют с другими, выделен-

ными на иных основаниях: змееныш, паразит, поросенок, сука.

Поросенок – 3. Разг. Употребляется как бранное слово (МАС).

Змееныш – Употребляется как бранное слово по отношению к ребенку, к молодому человеку (МАС).

При этом слово *сука* можно охарактеризовать как имя общего рода, приложимое к существам обоего пола и даже неодушевленным объектам, хотя авторы БТС и делают специальную помету.

Сука – 2. Грубо. прост. Употребляется как бранное слово (МАС);

2. Грубо. О человеке, вызывающем своим поведением гнев, раздра-

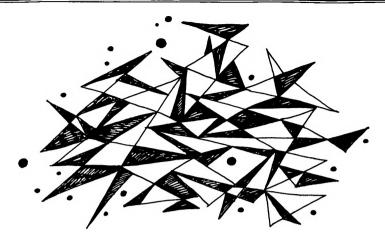
жение (обычно женщине) (БТС).

И, наконец, восьмую группу составляют многие зоонимы, часть из которых не отражена в толковых словарях, пожалуй, за исключением слов голубок, голубчик, голубка, голубушка. К этой же группе можно отнести деминутивы: котик, птичка, ласточка, рыбка, зайчик, киска.

Например, зооним *голубка* толкуется так: 2. *Разг*. Ласковое обращение к женшине (БТС).

Эти зоонимы выступают в определенных позициях – прежде всего, в обращении. Другие употребления можно рассматривать как перенос именования-вокатива в несвойственную ему позицию, а кроме того, как попытку говорящего стать на точку зрения адресата: \hat{K} огда пришел Котик? (Когда ты пришел, Котик?). Кроме специфических коннотаций нельзя точнее обозначить мотивировку семантического переноса в подобных случаях. Более того, список подобных зоонимов можно считать открытым. В обращениях, вопреки словарному толкованию, не соблюдается корреляция по полу существительного и полу адресата. Ласточкой, зайчиком и голубчиком можно назвать как мужчину, так и женщину. Известно, с помощью каких неординарных зоонимов обращался в письмах А.П. Чехов к О.Л. Книппер: "Милюся моя, Оля, голубчик, здравствуй!" (22 сент. 1900); "Представь, милая моя собака, какой ужас! Сейчас докладывают, что какой-то господин внизу спрашивает меня" (28 дек. 1900); "Милая моя актрисуля, замечательная моя собака, за что на меня сердишься, отчего не пишешь мне?" (23 февр. 1901); "Собака Олька! Я приеду в первых числах мая" (19 апр. 1901); "Собачка, милый мой песик, письмо твое только что получил..." (28 авг. 1901); "Милый мой крокодил, сегодня получил от тебя два письма..." (17 марта 1902). Известно также, что В.В. Маяковский подписывал свои письма к Л.Ю. Брик именем Щен, образованным от зоонима шенок.

Выделяя разные типы переноса в антропоцентрических значениях зоонимов, конечно, мы отдаем себе отчет о зыбкости и подвижности границ между разными группами названий животных, тем не менее основания переноса обнаруживают значительное многообразие.



Военная лексика в языке спорта

© А. А. ЕЛИСТРАТОВ

В связи с недавними Олимпийскими играми в Афинах оживился интерес и любителей, и серьезных исследователей к разным аспектам спортивной деятельности. Подобная тенденция наблюдается всякий раз при проведении крупных спортивных состязаний. Особую область научной деятельности представляет собой изучение языка спорта. Интерес, проявляемый лингвистикой к этой проблеме, не случаен. Анализ языковых средств, применяемых спортсменами, позволяет выявить новые факты и с их помощью установить тенденции и закономерности, существующие в корпоративных языках. В данной статье мы коснемся проблемы проникновения военной лексики в язык спорта.

Для спортсменов, чья деятельность связана с борьбой, конкуренцией, соперничеством, использование военной лексики закономерно. Они проводят атаки и контратаки, защищаются, маневрируют, осаждают соперника, совершают рейды в тыл, торжествуют победу и т.д.

Мы выделяем несколько причин использования военной лексики в языке спорта. Одной из них можно назвать особенность менталитета народов мира, в сознании которых война представляет собой устойчивый архетип. Спорт, по сути дела, первоначально являлся подготовкой к войне. В.В. Столбов отмечает, что "в период разложения первобытнообщинного строя, когда война стала частой формой отношений между племенами, возникают и развиваются элементы военно-физи-

ческой подготовки молодежи" (Столбов В.В. История и организация физической культуры и спорта. М., 1984. С. 9). Целью выполнения спортивных упражнений и у древних греков, и у римлян, и у варваров являлась подготовка будущих воинов к тяготам и лишениям суровой походной и военной жизни.

В наше время примером милитаризованного спорта можно считать подготовку спортсменов в советской стране до и после Великой Отечественной войны. На это косвенно указывает название известного спортивного норматива "Готов к труду и обороне" (ГТО), введенного в СССР в 1930 году, а также сдача норм на значки "Ворошиловский стрелок", "Ворошиловский всадник", "Альпинист СССР", "Парашютист СССР", "Турист СССР", "Готов к труду и противохимической обороне" (ПВХО) и др. Аналогичный процесс имел место и в других странах. Так, президент США Д. Эйзенхауэр писал: "Истинное назначение американского спорта – подготовка к войне" (Цит. по: Долгополов Н.М. По ту сторону спорта. М., 1984. С. 8), а фашистский идеолог Карл Дим любил повторять: "Война – по преимуществу спорт" (Там же. С. 116).

Одна из древнейших игр — шахматы, являясь поединком больше интеллектуальным, чем физическим, тем не менее символизирует сражение двух армий, о чем говорят названия фигур: слон (русское разговорное название офицер), конь, пешка (простой воин), ладья (разговорное название тура — передвижная башня для осады крепостей) — реальные боевые единицы древнеиндийской армии. Читая описания шахматных партий, трудно отделаться от впечатления, что речь идет не просто о шахматной борьбе, а о настоящей битве. Приведем примеры использования военной метафоры, которая в изобилии встречается в шахматной литературе.

Михаил Ботвинник: "Для того, чтобы завязать борьбу в соответст-

Михаил Ботвинник: "Для того, чтобы завязать борьбу в соответствующем стиле, надо прежде всего навязать противнику свою волю, захватить инициативу в битве"; "...Стоило лишь принять все эти жертвы, предоставить противнику возможность атаки, выдержать первый натиск, а затем уже использовать либо материальное превосходство, либо позиционные слабости, накопившиеся в лагере неприятеля в процессе бурной атаки..." (Ботвинник М.М. Советская шахматная школа. М., 1951. С. 11–12).

Анатолий Карпов: "Партии Фишера – партии высочайшего боевого накала (бескомпромиссность Фишера общеизвестна) – отражают его универсальный шахматный стиль. В них можно найти все, острейшие дебютные схемы, искрометные атаки, тонкое маневрирование, упорную защиту трудных позиций, умение изыскивать малейшие шансы для контрнаступления, глубокие многоходовые эндшпили" (Пит. по: Меднис Э. Как побеждали Бобби Фишера. М., 1981. С. 5).

Генрих Каспарян: "Идея создания крепости, хорошо знакомая шахматистам, часто возникает в практической партии при осуществлении различных стратегических планов. Создание укрепленной позиции в своем лагере, блокады сил противника являются важными предпосылками успешной защиты" (Каспарян Г.М. Позиционная ничья. М., 1977. С. 7) и др.

Если умозрительно попытаться представить себе описание спортивного состязания, поединка, матча, игры, раунда, то практически неизбежно употребление таких военных слов, как закрепиться в обороне, начать яростную атаку, осада ворот противника, прорвать линию защиты по правому флангу, успешный тактический маневр, ледовое сражение, матчевая борьба, штурмовать кольцо, дать отпор, пойти в контратаку, боевая форма, обстрел ворот, прицельный удар, разгромить наголову, баскетбольный снайпер, спортивный трофей, надежный тыл и др. Все эти выражения взяты из области спорта.

Уподобление спорта войне особенно характерно для командных видов спорта, где явственно наблюдается противостояние двух команд (в реальной войне – войск, сторон). Поэтому эпохальные встречи команд с подачи болельщиков или спортивных комментаторов иногда именуются сражением, битвой, боем, прославляются или даже уподобляются отдельным историческим сражениям, как это было после победы российской сборной над французами на стадионе "Стад де Франс". Российские футбольные болельщики уподобили этот матч Бородинскому сражению и создали поэму "Бородино", перефразируя М.Ю. Лермонтова.

Есть ряд попыток классифицировать военно-спортивную лексику, среди которых следует упомянуть классификацию И.М. Юрковского (см.: Юрковский И.М. Активные процессы в русской спортивно-игровой лексике. Кишинев, 1988). Согласно данной классификации, в современной спортивной лексике можно выделить около 200 военных слов. В зависимости от степени специализации в спортивной терминологии их можно разделить на три группы:

– окказиональные, метафорически переосмысленные лексические единицы военного дела, не имеющие устойчивого употребления, чья миграция в лексику спорта носит случайный характер. Цель их использования – усиление эмоциональной окраски речи. Как правило, их применяют в качестве образных заместителей терминов спорта, по отношению к которым они являются вторичными. Например, новобранец означает "новичок в спортивной команде": "Не нуждаются в представлении форварды-новобранцы Разин, Буцаев-младший, Уппер, Соин" (Сов. спорт. 2003. 10 сент.); междоусобица – соперничество спортсменов одной страны: "Предпоследний, 10-й тур традиционного Атвет-турнира по быстрым шахматам и игре не глядя на доску вылил-

- ся в междоусобицу всех четырех российских гроссмейстеров" (Спорт Экспресс. 2004, 2 апр.); регалия спортивный титул: «В 80–90-е годы он стал одним из самых авторитетных европейских тренеров, добавив к своим регалиям внушительный набор титулов, завоеванных под его руководством "Аляксом" и "Барселоной" (Спорт-Экспресс. Там же); снаряд мяч: "В последнее время особенно везет в этом плане Кириченко: в кубковом матче в Элисте ему любезно "поднес снаряд" Семак, а в последней игре с "Зенитом" Гусев» (Спорт Экспресс, 2004. 12 мая) и др.;
- широкоупотребительные метафоры, дублирующие спортивные термины. Сюда включаются метафорически переосмысленные военные слова, которые в результате регулярного употребления стали принадлежностью общеупотребительной лексики. В спортивный обиход эти слова попали уже как готовые, оформившиеся в общем языке выразительные средства. Примеры таких слов: агрессия, агрессивный: "Не прошло и минуты после мини-инцидента, как агрессивный форвард Прохоренков слева ворвался в штрафную, на скорости протаранил Кнавса и прострелил на набегавшего Верпаковского" (Спорт Экспресс. 2004. 2 апр.); армия, наступление, бастион: "Российская сборная не стала цепляться за ничью, а сразу же повела массированное наступление на швейцарские бастионы" (Сов. спорт. 2003. 10 сент.); трофей: "А из-за позорного поражения в Монте-Карло Роналдо пришлось как минимум на год отложить мечту о завоевании единственного трофея, которого нет у него в коллекции, - Кубка чемпионов" (Спорт Экспресс. 2004. 13 апр.); штаб: "В распоряжении тренерского штаба осталась целая россыпь молодых талантов, которые повзрослели на год и создают конкуренцию за место в составе" (Сов. спорт. 2003. 10 сент.); тыл, штурм и др. Слова этой группы часто выступают в качестве заменителей основных терминов. Например, битва вместо состязание; боец – спортсмен, боеспособность – спортивная форма, снайпер – результативный игрок, разгром – крупный проигрыш; трофей – приз, тыл – глубокая защита и т.п.;
- слова военной лексики, ставшие в результате специализации спортивными терминами. Слова этой группы отмечены во всех спортивных словарях или общих словарях со специальной пометой спорт. Например, "защита действия спортсмена в единоборствах, игрока, звена или команды в спортивных играх, имеющие целью отразить атаку соперника и не дать ему добиться результата" (Толковый словарь спортивных терминов. М., 1993); "фланг часть игрового поля (площадки), примыкающая к его боковой линии" (Там же); "капитан член спортивной команды, которому поручается руководство действиями остальных ее участников выполнение ряда организационных, дисциплинарных и общественных функций" (Там же); "маневр тактическое действие. Передвижение спортсмена с целью занять более

выгодное положение по отношению к сопернику, создать благоприятную ситуацию для выполнения действий" (Там же) и др.

ную ситуацию для выполнения действий" (Там же) и др.

Вторая причина проникновения военной лексики в спортивный язык заключается в общности деятельности спортсменов как представителей единой корпоративной культуры. Следует отметить, что формирование единой корпоративной культуры спортсменов начало складываться в 1960-х годах. В основе этого процесса лежит, во-первых, унификация спортивной соревновательной деятельности, берущая начало со второй половины XIX века, во-вторых, развитие международного олимпийского движения, которое способствовало (и способствует) сплочению спортсменов в рамках своей культуры, росту самосознания и развития корпоративной культуры спорта, в-третьих, активное участие социалистических стран в международном и, особенно, олимпийском движении после Второй мировой войны, что привело к противостоянию стран социалистического и капиталистического лагеря на международной спортивной арене. Спорту стало уделяться внимание на государственном уровне, что повлекло за собой рост финансирования, повышение требований к выступлениям спортсменов, и, следовательно, их профессионализацию. Вместе с тем наблюдается активное взаимодействие между спортсменами конкурирующих держав, что привело к тесному сотрудничеству и обмену опытом. Начала складываться единая корпоративная спортивная культура. Шестидесятые годы также характеризуются взрывом интереса к спортивной деятельности представителей разных наук. В их числе стоит особо выделить существенные для спорта медицину, педагогику, социологию и психологию.

Повышение престижа спорта как на местном, так и на международном уровне повлекло за собой рост конкуренции между спортсменами. На наш взгляд, конкуренция и профессионализация спорта являются третьей причиной проникновения военной лексики в спортивный язык. Конкуренция характеризуется повышенной агрессивностью, желанием победить любым путем. Подобное стремление к победе во многом характерно для американской культуры. "Американцы хотят быть победителями где бы то ни было – в школе или бизнесе, политике или спорте. Спорт, каковым он стал в Америке, является выражением социального дарвинизма. Это – "выживание достойнейших", когда все хотят быть наверху", – отмечают социологи С. Эйтцен и Дж. Сейдж (Цит. по: Гуськов С.И. Спорт и американская школа. М., 1995. С. 5). Анализ языка ряда американских публицистических изданий показывает активное использование "агрессивной", в том числе и военной, лексики применительно к спорту.

лексики применительно к спорту.

Вероятно, процесс активного взаимодействия "агрессивной" и спортивной лексики также берет начало в 50–60-х годах. Огромную роль в этом процессе сыграло также политическое противостояние,

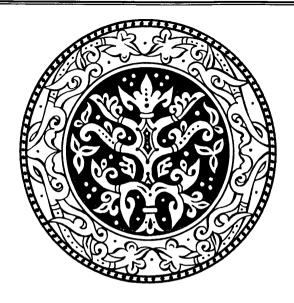
которое нашло выход на спортивном уровне. Вот что пишут о советском спорте шестидесятых публицисты А. Генис и П. Вайль: «Спортивные состязания стали все заметнее приобретать зловещий оттенок агрессии. На международном уровне "свое" естественным образом заменялось на "наше". "Наши" обязаны были "вмазать" шведам, "наказать" немцев, "проучить" американцев. Советские сборные, как десантные отряды, совершали глубокие рейды в тылу врага, вызывая победами чувство законной гордости.

...Никто и не думал о спорте, когда в марте 69-го на первенстве мира по хоккею чехословаки вышли на лед против команды Советского Союза – "грозной ледовой дружины", уже по одному лишь газетному жаргону являющейся подразделением победоносной армии» (Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1998. С. 213–214).

Если выделить чисто военную лексику из устойчивых выражений клише в языке спорта, то можно заметить, что военная метафора в спортивной терминологии призвана описать более общие понятия: победа, поражение, атака, нападение, контратака, защита, тактика, стратегия и т.д. Конкретные понятия выражаются уже посредством специального, спортивного, языка: гол, пас, хук, буллит, ворота, штрафной, команда и т.д.

Использование военной лексики в спортивном языке представляется закономерным и, скорее всего, неизбежным, во-первых, из-за исторической взаимосвязи войны и спорта, во-вторых, из-за сходного характера правил многих спортивных игр и боевых действий, в-третьих, из-за стремления к экспрессии в описании спортивных зрелищ.

Безусловно, процесс метафоризации военной лексики в спорте является продуктивным, поскольку может вовлекать новые языковые единицы.



"Паси овцы Моя..."

Образ доброго пастыря в Киево-Печерском патерике

© М. Е. БАШЛЫКОВА

Библейские образы, цитаты и заимствования из текстов Священного Писания пронизывают всю ткань древнерусской литературы. Образ доброго пастыря часто является основным в произведениях жанра агиографии, когда речь идет об основателе монастыря, игумене или епископе. В тексте Киево-Печерского патерика этот образ является одним из структурообразующих.

Образ пастыря и его стада играет важную роль практически во всех житиях печерских игуменов: прп. Стефана, Никона, Варлаама, Феодосия, Исайи (Киево-Печерский патерик. Киев, 1661). О важности образа свидетельствует его постоянство. Например, в Житии прп. Варлаама говорится: "...великий князь Изяслав Ярославич <...> преподобнаго же отца нашего Варлаама, яко природна себе суща и в добродетелех иноческих искусна, от пещеры взем, в своем монастыре игуменом постави, идеже преподобный добре и богоугодне пасяше стадо Христово ...". В этом фрагменте присутствует речевая формула, повторяющаяся также и в ряде других Житий: "добре (и богоугод-

но) стадо Христово (врученное себе) пасый" (прп. Феодосий, прп. Варлаам, прп. Исайя).

Образ пастыря является основным в описании деятельности подвижников и в епископском сане. Впервые в подобной ситуации он встречается в Житии прп. Стефана, ставшего в конце жизни епископом Владимирским. Здесь мы видим расширение образа, которое представляет собой скрытую цитату из 1-го Послания к Тимофею апостола Павла: "Никтоже о юности твоей да нерадит, но образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою". На полях печатного издания также имеется ссылка на 1-е Послание апостола Петра: "Пасите, еже в вас стадо Божие, посещающее не нуждею, но волею и по Бозе; ниже неправедными прибытки, но усердно; ни яко обладающие причту, но образи бывайте стаду...". Деятельность епископа Стефана характеризуется следующим образом: "И добре пасяше Богом врученная себе овца, образ бывая стаду словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою".

О другом Новгородском епископе, Нифонте, говорится, что он "прилежа зело умножению славы Божия и блюдению живота временнаго же и вечнаго словесных овец".

В Житии прп. Никиты, епископа Новгородского, говорится, что Бог "сотвори его пастыря словесному Своему стаду". Не случаен и пример апостола Петра, данный здесь, покаяние которого вспоминается, по-видимому, для подтверждения справедливости епископской хиротонии (рукоположении, посвящении в какую-либо священническую должность). Рассказ о ней следует за повествованием о преодолении подвижником тяжелого искушения. Образ пастыря в данном случае находит обоснование в словах Господа, сказанных ап. Петру после Воскресения, на берегу Тивериадского озера. Сама ситуация здесь соотносится с евангельской и признается аналогичной ей: "...И якоже Петра святаго, отвергшагося Его трикраты, покаяние приемля, глагола ему: Паси агнцы Моя, паси овцы Моя, паси избранныя Моя. Тоже знамение благоприятнаго покаяния и блаженному сему Никите подаде. Ибо за премногую любовь в хранении всех заповедей сотвори его пастыря словесному Своему стаду, возвед на престол епископства Новгородскаго".

В повествовании о деятельности свт. Исайи Чудотворца в качестве епископа Ростовского используется традиционный образ пастыря и стада применительно к недавно обращенным в христианство землям: "...прииде на свой престол в богохранимый град Ростов, и видя там свирепеющая своя овцы, людей глаголю новокрещенных, не у добре утвержденных в вере <...> темже ятся опасне пастырских трудов...". Подробное изложение миссионерской деятельности епископа в заключении содержит характеристику свт. Исайи, где особенно подчеркивается его милосердие, прокомментированное ссылкой на Книгу

Иова: "Бысть же зело милостив к убогим, сирым же и вдовицам, алчущим питатель, печальным утешитель, бедным пособник и заступник, по Иову же: око слепым и нога хромым; яко всем радоватися о нем и везде прославляти Бога, даровавшего такова отца, учителя и наставника стране той". Как видим, образ пастыря здесь и в ряде других случаев соединяется с образом милосердного отца.

В Житии прп. Феодосия Печерского дается образец поведения человека в игуменском сане, который прочно связывается с образом милосердного отца. Так, после рассказа о строительстве Успенской церкви в память святого Феодосия Печерского говорится: "...творяше купно в самом себе храм Святому Духу, день от дне множайшими возрастая добродетел(ь)ми, отец сый сирым, заступник вдовицам, помощник обидимым".

мощник обидимым".

Образ милосердного отца (иногда возникающий и в связи с рассказом о епископстве, например о свт. Исайе), применительно к прп. Феодосию конкретизируется, подчеркивая особый порядок принятия в монастырь: всех приходящих. В первый раз этот обычай прп. Феодосия кратко описывается в тексте Жития прп. Антония: "...тогда живущу сему в монастыре, и правящу добродетельное житие по уставу, и приемлющу всякаго приходящаго к себе...". Второй раз он отмечается в связи с темой принятия монастырского устава прп. Феодосием — действия, признаваемого в его Житии одним из важнейших. Внешнее строительство монастыря сопоставляется с устройством в нем духовной жизни: "...восхоте преподобный Феодосий игумен сый, утвердити монастырь свой ограждением кроме чувственнаго мысленным, си есть чинным уставом иночествующих не к тому в затворе, но в монастыре. И нача взыскати правила монастырскаго...". Разыскания прп. Феодосия о Студийском уставе формулируются в виде ритмизованного текста, который подается сначала в форме вопроса: "... вопрошаше игумен преподобный Феодосий о уставе отец Студийских, како поют пения, и почитают чтения, и поклоны како держат, и стояние в церкви, и седание на трапезе, и кое ядение в кия

отец Студийских, како поют пения, и почитают чтения, и поклоны како держат, и стояние в церкви, и седание на трапезе, и кое ядение в кия дни...". Этот же фрагмент повторяется почти дословно в рассказе о принесении списка Студийского устава из Святой земли.

К повествованию об уставе ("чине монастырском совершенном") присоединяется, уже в развернутом виде, указание на особенность принятия в Печерский монастырь: "Имеяше к сему преподобный отец наш Феодосий во время игуменства своего устав добродетел(ь)ных своих нравов сицевый: всякаго хотящаго быти иноком грядущаго к нему, не отгоняше, ни убога, ни богата, но всех приимаше с всяким усердием. Вспоминаше бо, какова скорбь бывает человеку, хотящему пострищися и небрегому...". В данном фрагменте, апеллирующем к опыту самого прп. Феодосия (не принятого из-за бедности ни в одном из киевских монастырей), ощущается ориентированность на слова Иисуса Христа, как на образец: "Грядущаго ко Мне не изгоню вон".

Соединение образа игумена как доброго пастыря и игумена как милосердного отиа (возможно, уже из притчи о блупном сыне) проявляется в отношении прп. Феолосия к инокам, не выперживавшим строгости монастырской жизни и уходившим из монастыря, а затем вновь возвращавшимся с покаянием: "И аше кто от нестяжательнаго его стада расслабел бы сердцем, и отшел от монастыря, тогда преподобный в велицей печали и скорби его ради бяще, и молящеся Богу с слезами, дабы отлучившееся от стада его овча возвратил воспять, дондеже возвращащеся отщелый, егоже преполобный с ралостию прием. учаше никакоже расслабевати козньми вражиими.., но крепце стати". О некоем "нетерпеливом брате", который неоднократно уходил из монастыря, говорится, что прп. Феодосий молился "Богу со слезами, да подаст терпение брату", и когда тот вернулся, игумен "того, яко овча от заблуждения пришедшее, с радостию прият и стаду своему причте". В раскрытии этого образа часто встречаются прямые или скрытые цитаты из Библии, обусловленные самим его происхождением.

Известно, что монашество в средневековой христианской культуре воспринималось как наиболее полное и последовательное исполнение заповедей Христа. Поэтому столь важную роль в семантике текстов агиографических произведений играют скрытые цитаты и аллюзии на тексты Священного Писания, библейские образы, одним из которых является образ доброго пастыря, данный Иисусом Христом в качестве примера Своим ученикам.



ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭТИКЕТ

© А.В.ЗЕЛЕНИН, кандидат филологических наук

В современном русском языковом пространстве произошли и продолжают происходить значительные изменения, по сравнению, например, с советским временем. Многие штампы, речевые стереотипы недавнего прошлого уже ушли в языковой пассив. На их месте создаются новые речевые модели, появление к жизни которых связано со многими причинами, уже хорошо описанными современными русистами.

Кроме того, всеобщее внимание привлекает и трансформация этикетной системы в русском языке (работы В.Г. Костомарова, М.А. Кронгауза, О.А. Крыловой, А.Г. Балакая, Н.И. Формановской и др.): уход в пассив официального советского этикета или сужение сферы его функционирования (например, товарищ используется преимущественно в армейской среде, органах правопорядка или в речевом обиходе членов некоторых партий); упрощение официального титулования; появление новых этикетных терминов (президент, мэр, глава администрации); возрождение старых этикетных знаков (господин, госпожа, дама); давление англоязычной этикетной системы (имя фамилия: Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Владимир Путин) и калькирование форм и некоторых моделей; складывание упрощенных этикетных моделей в сфере телекоммуникаций (мобильные телефоны, Интернет, электронная почта).

Вместе с тем, есть один специфический тип этикета, который еще мало изучен и описан специалистами по культуре речи (ортологами), но который также нуждается во внимании. Это – православный речевой этикет, возрождение которого очевидно. Конечно, активизация православного этикета связана с нелингвистическими причинами.

Этикет проникает в нашу жизнь разными путями: ему либо научаются с детства в процессе социализации (формы приветствия-прощания, благодарности, просьбы, уступки, нахождения в обществе, выражения эмоций и чувств и т.д.), либо его изучают специально (дипломатический, деловой, военный, профессиональный и т.п.). Церковный же этикет в дореволюционное время чаще всего формировался с дет-

ства во время посещения служб. В советское время церковный этикет знали и выполняли лишь немногие прихожане; овладевать им можно было преимущественно вместе с посещением храма, поскольку книг по церковному этикету для широкой публики не издавалось. Посещение церкви требует от человека выполнения определенных поведенческих норм, языковых стандартов, речевых регламентаций, однако очень часто люди не владеют церковным типом этикета. Как и специальные виды этикета, церковный тралиционен, а его речевые клише **устойчивы.**

Церковный этикет может рассматриваться с двух позиций: внутренней (церковно-моральной) и внешней (секуляризованной). В первом случае он понимается как комплекс душевных, духовных, психических качеств личности, стремящейся вести благочестивый образ жизни. Во втором – моделируется как система поведенческих правил и речевых формул-клише. Очевидно, что первое толкование церкови речевых формул-клише. Очевидно, что первое толкование церковного этикета предельно широкое, включающее в себя всю жизнь христианина; второе же — узкое, сводящее всю проблематику церковного этикета к внешним (поведенческим и языковым) манерам. Совершенно ясно, что здесь мы видим "давление" общеязыкового употребления термина этикет на понятие церковный этикет. В обыденном языке этикет – "установленный, принятый порядок поведения, форм обхождения" (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1991). Современное использование данного понятия базируется именно на идее: "внешние манеры, отвечающие представлениям о приличии в данном обществе, группе".

Это различие между внутренним этикетом и внешним не всегда улавливается современным человеком, который привык преимущественно ко второму употреблению. Между тем, в церковном контексте подчеркивается такая мысль: как внешний, так и внутренний этикет содержат в себе в качестве непременного составляющего компонента категорию вежливости (уважения). В светском обхождении вежливость чаще всего интерпретируется как способ индивида "сохранить свое лицо" (англ. to save face; нем. das Gesicht wahren) с минимальными свое лицо" (англ. to save face; нем. das Gesicht wahren) с минимальными для себя социально-психологическими потерями и тратами. В церковном же обхождении акцентируется мысль о вежливости как проявлении и развитии в человеке духовного смирения. Таким образом, категория вежливости как базовая в сфере этикета вообще имеет разные трактовки в светской и церковной этике.

Рассмотрим существующие особенности в церковном обиходе как в сфере устной коммуникации, так и письменной. Начнем с обращения к духовенству, например, к священнику, типичное именование которого ответ временте свое происхождение еще с ветхозаветных времен

торого *отец* ведет свое происхождение еще с ветхозаветных времен. В Библии слово *отец* используется при обозначении как кровного родства (то есть в прямом, этимологическом, значении) и обращения

к мужчине-отцу в "малой" семье (муж — жена — дети), так и главе "большой" семьи (включая "отцов отцов", то есть дедушек). Авторитет отца у древних евреев был очень высок: отец отвечал за церковное наставление детей и обладал всеми юридическими правами. Этот пиитет к отцу был перенесен и на церковную иерархию. В Ветхом Завете отцом называется и священник, и родоначальник колена или народа, и даже царь. В Новом Завете это почтение и почитание отца было еще более усилено: ап. Павел называет отцами апостолов, которые ведут проповедь христианства среди язычников.

В церковном этикете существует строгая иерархия обращения к духовенству в зависимости от степеней священства. Степень диаконства включает в себя диакона протодиакона перодиакона архиди-

ства включает в себя диакона, протодиакона, иеродиакона, архиди-акона. Степень священства состоит из иерея (= священник = пресви-тер), иеромонаха, игумена, архимандрита. Степень епископата – из епископа, архиепископа, митрополита, патриарха.

При прямом обращении к диаконам возможны две формы: с упоминанием имени – отец Николай, отец Сергий, отец Иоанн, отец Алексий, то есть принята комбинация нарицательного существительного *отец* и церковнославянской формы (не русской!) имени, или только с упоминанием степени – *отец диакон*, посоветуйте мне. При упоминании диакона в третьем лице обычно используют модель: *отец диакон* (иеродиакон, архидиакон) сказал, сообщил, позвонил и т.д., хотя возможно использование и личного имени: *отец Андрей по*советовал.

В отличие от степени диаконства, при обращении к более высокому иерарху, священнику, принята несколько иная модель обращения: нарицательное существительное *отец + имя* (церковнославянское) + + фамилия, то есть используется трехчленная форма – *отец Михаил Петров, отец Алексий Иванов*. В церковной иерархии это мотивировано тем, что священники, в отличие от диаконов, обладают правом совершать таинства священства и все церковные службы: "Позвольте, батюшка Алексей Феофилактыч, – начала [Арина Семеновна], – просить вас осчастливить меня вашим посещением. Я еще пользовапросить вас осчастливить меня вашим посещением. Я еще пользовалась милостями вашего папеньки, маменьки; по доброте своей и великодушию, они никогда не брезговали посещать мою сиротскую хижину. Слух тоже, батюшка, и про вас идет, что вы в папеньку — негордые. — С большим удовольствием, сударыня, но меня звал omeu Hukonaŭ; чтоб мне туда не опоздать, — сказал я. — Omeu Hukonaŭ, fameouka, долго еще изволят пробыть в церкви, так как теперича простой народ молебны будет служить, а вы по крайности тем временем чайку или кофейку у меня откушаете" (Писемский. Плотничья артель. Здесь и далее курсив наш. — A.3.).

Употребление двучленной модели omeu Cudopos считается оскорбительным и поэтому обычно не используется. В народной культуре

в XIX веке обращение к священнику чаще всего содержало элемент батюшка (в качестве факультативного элемента — имя и отчество, особенно при близком знакомстве); при упоминании отсутствующего священника употребляли сочетание от нерковное (полное) имя: «Намеднись от длексей, священник, стал меня причащать да и говорит: "Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?" Но я ему ответила: "А мысленный грех, батюшка?" — "Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий"» (Тургенев. Живые мощи).

В отличие от католичества, в православии не принято обращение к священникам словами святой отец (калька с латин. pater sanctus в европейских языках, где эта фраза является этикетной при обращении к священнику). В православии же обычно используется фраза честные (с ударением на второй слог) отщы или в вокативной функции честный отче (в единств. числе), честные отцы (где прилагательное честный (честной) является древней, восходящей к старославянскому языку, калькой с греч. еusebes "благочестивый", timomenos, sebomenos "чтимый, почитаемый, уважаемый"). Сочетание святые отцы используется в русской православной традиции для обозначения богословов VI века, которые разработали канонические правила церкви и которые позднее были причислены к лику святых — Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Григорий Нисский (Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. СПб., 2000). Такое же толкование дает выражению и В.В. Даль: "Святые отцы, или святители, толковавшие христианское (православное) ученье" (Толковый словарь живого великорусского языка).

Однако в реальном речевом употреблении уже в русском языке XIX века фраза святой отец (святые отцы) использовалась также в смещенном значении — при обращении к православному священнику: «Весь круглый год святой отец постился, /Весь божий день он в келье провождал, "Помилуй мя" в полголоса читал, /Ел плотно, спал и всякий час молился» (Пушкин. Сказка о попе и о работнике его Балде); "Продайте, говорю, святой отец!" (Писемский. Уже отцветшие цветки); "Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас!" (Чехов. Княгиня); "Здоровы ли вы? — спросил отрывисто, но благосклонно настоятель. — Живу, святой отец, — отвечал Петр Михайлыч..." (Писемский. Тысяча душ) и др.

При этом обращение честной отец в языковой практике XIX века уже явно пошло на убыль, став стилистически высоким в светской (нецерковной) стилистике или, напротив, разговорно-фамильярным в просторечии: У честных отцов не найдешь концов (В.И. Даль). Таким образом, в русском языке XIX века происходил процесс стилистического "снижения" выражения честной отец и семантической "экс-

пансии" и расширения сочетания *святой отец*. Обращение *отец* + + *имя* на этом языковом динамичном фоне оставалось без стилистических изменений, поэтому и сохранилось до наших дней, в отличие от честной отец или святой отец.

честной отец или святой отец.

Речевые формулы приветствия-прощания. В церковном этикете обычно не рекомендуются приветствия здравствуй(те), прощай(те) как при разговоре с духовенством, так и в разговоре между верующими (мирянами). Типичной фразой при встрече и прощании является такая: простите, батюшка, и благословите. Соположение понятий приветствие и благословление в церковном этикете отнюдь не случайно, а восходит еще к древнееврейской языковой и культурной традиции, где такие глаголы, как приветствовать, благословлять, выражать благожелание передавались одним словом barech. Очевидно, фраза простите и благословите представляет в русском языке семантическое "расщепление" еврейского синкретического понятия на две лексических составляющих. Уже в Ветхом Завете упоминались типичные формулы приветствия-пожелания благополучия: господь с тобой, с вами; мир тебе, вам или языковая формула прощания — иди с миром. В словаре В.И. Даля приведена эта фраза в форме поговорки: Мир вам, и я к вам!

Конечно, современная речевая практика нарушает эту старую традицию, и сейчас часто в церкви можно слышать "светское" приветствие здравствуй(те) и прощальные слова до свидания или прощай(те), всего доброго, всего хорошего. Интересный пример приводит Е.А. Земская из своих записей речи эмигрантов: «М.Р. Гизетти, матушка собора в Лос-Анджелесе, пишет: "Всего Вам доброго и хорошего. Я не знаю, почему, но мы всегда желали друзьям всего самого хорошего или наилучшего, а доброго – пришло недавно из России, и я думаю – так лучше"» (Земская Е.А. Умирает ли русский язык зарубежья? // Вопросы языкознания. 2001. № 1). Действительно, в русской литературе конца XIX века этикетная фраза всего хорошего встречается довольно часто: "[Елена Андреевна.] Желаю всего хорошего" (Чехов. Дядя Ваня); "Что ж, позвольте пожелать всего хорошего" (Чехов. Чайка). Однако выражений всего самого хорошего, всего наилучшего, всего самого наилучшего, всего доброго в качестве этикетного знака в русской литературе XIX века мне не удалось зафиксировать. Очевидно, они возникли в русском языке довольно поздно, на рубеже XIX—XX веков как кальки европейских приветствий (англ. all the best – всего (самого) лучшего, наилучшего; нем. alles Gute – всего хорошего!; всего доброго!). Иноязычный характер этикетных фраз выдает форма превосходной степени, принятая в некоторых западноевропейских языковых моделях.

Самопредставление духовного лица невозможно с употреблением личного местоимения первого лица \mathbf{n} , например: \mathbf{H} – отец Николай

Петров. Обычно принята такая формула: священник Николай Иванов, иеромонах Александр Петров. Эти прагматические ограничения накладываются на язык священнослужителей библейскими текстами, где личное местоимение первого лица азъ (русский вариант я) часто используется при передаче прямой речи Иисуса Христа: "Я, Господь, делаю все это"; "потому что Я сказал" или при обращении человека к Богу (обычно в ситуациях покаяния, прегрешения), например, фразеологизм отче, я согрешил. В ситуации молитвенного "прошения" обычно используется только форма глагола настоящего времени с опущенным подлежащим я (определенно-личные конструкции): молю тебя; обращаюсь к тебе. Таким образом, личное местоимение 1-го лица единственного числа в церковном этикете "нагружено" особыми прагматическими смыслами, связанными с подчеркиванием абсолютивной функции — "Я" — Бога; с функцией самоуничижения — "я" — субъекта как греховного существа или умаления собственной значимости. Именно поэтому в ситуации самопредставления духовного лица употребление личного местоимения я не вписывается в принятые семантические и прагматические каноны церковного этикета.

Традиционными формулами при прощании верующих людей в старое время были: *Храни, Господи!; С Богом!; Помощи Божьей; Ангела Хранителя*, однако в настоящее время эта система значительно упростилась, обычно ограничиваются фразами *Храни, Господи! С Богом!*: "С Богом, Иван Михайлыч! – говорит генерал" (Л.Н. Толстой. Набег. Рассказ волонтера).

Если человек хочет узнать имя духовного лица или другого мирянина, принята такая словесная формула: простите, как Ваше святое имя? Эта речевая модель основана на традиции именования при крещении (присвоение имени, наречение) в церкви по святцам (сборникам имен, принятых в православном календаре).

В речевом обиходе мирян можно слышать обращение-именование друг друга словами брат, сестра. После разговора или даже небольшого диалога в среде верующих распространены речевые обороты извинения: прости, брат (сестра), в ответ надо ответить Бог простити, и ты меня прости. Эта фраза из церковного речевого обихода проникла и в общий язык XVIII—XIX веков, употребляясь в некоторых (обычно возвышенно-патетических) речевых ситуациях: "[Евсеич] же кланялся на все стороны и говорил: Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал... все простите! — Бог простити! — слышалось в ответ. — И ежели перед начальством согрубил... и ежели в зачинщиках был... и в том, Христа ради, простите! — Бог простити!" (Салтыков-Щедрин. История одного города); "[Минутка (вставая):] Иван Максимыч! Я много виноват перед вами! Надеяться на какое-нибудь примирение с вами — это, разумеется, было бы довольно смешно и глупо; но я хочу

вот чего: хочу одолеть свою гадость душевную и сказать вам: простите меня, бога ради! [Молчанов (грустно):] Бог вас простит!" (Лесков. Расточитель); "Гаша, — сказал [Корней] тихим голосом, — время мое доспело. Я помирать хочу. Так вот ты прости меня Христа ради. — Бог простит. Что ж, ты мне худого не делал..." (Л.Н. Толстой. Корней Васильев); "Левша отвечает: Бог простит, — это нам не впервые такой снег на голову" (Лесков. Левша).

Такой снег на голову" (Лесков. Левша).

Термины брат и сестра, принятые в церковном этикете, также восходят к библейским текстам, где братья и сестры интерпретируются в духовно-религиозном, а не семейно-родственном смысле: братья и сестры во Христе; все христиане — братья и сестры. Попутно отметим, что в 1941 году при обращении (3 июля 1941 г.) Сталина к советскому народу по поводу начала Великой Отечественной войны была использована именно эта церковная этикетная формула: "Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота! Я обращаюсь к вам, друзья мои!"

ращаюсь к вам, друзья мои!"

Церковные формы обращения испытали на себе сильное влияние светского этикета, складывавшегося под воздействием западноевропейских моделей в XVIII веке, поэтому обращение на "вы" как к духовенству, так и среди мирян в наши дни является предпочтительным; напротив, обращение на "ты" возможно лишь при близких отношениях и при отсутствии в окружении говорящих других людей. Обращение на "ты" в присутствии посторонних считается невежливым и предосудительным. Разумеется, речь не идет о молитвенном обращении к Богу, к которому принято обращаться только на "ты": не оставь меня; прошу тебя; помилуй меня.

Категория отказа в церковном этикете выражается при помощи специальных языковых формул: прости(те), не могу согласиться с вашей позицией, потому что это грех; прости(те), на это нет благословения моего духовника. Таким образом, в функции негативного ответа используются особые лексические средства (грех, духовник), которые снимают необходимость аргументировать свой отказ. Это также одно из ярких отличий от светского этикета, в котором именно логико-семантическая аргументация отказа служит проявлением вежливости.

Паралингвистические средства. В церковном этикете большую роль играют неязыковые (паралингвистические) способы этикетного поведения. Жестикуляция и мимика сведены к минимуму; скупость жестов рассматривается как проявление воспитанности и сдержанности (умеренности). Прикосновения к священнику во время беседы также запрещены; исключение составляют только ситуации благословения, когда нужно поцеловать руку священника или край его одежды. Крайне важную роль играет и дистанция в разговоре, которая чаще всего регулируется самим священником: он может подойти

ближе или, напротив, стать дальше. Взгляд должен быть устремлен прямо в глаза (священника или другого прихожанина), и, по возможности, он не должен содержать "дополнительных компонентов" (ирония, пристальность, заинтересованность и т.п.). Исключены также повышенная интонация и эмоциональность речи. Таким образом, паралингвистические средства речевой коммуникации минимизированы. Обоснование такого поведения содержится в тексте Библии и многочисленных толкованиях, интерпретациях библейских текстов с древности до наших дней.

Письменные формы церковного этикета. Если рассматривать письменные сообщения верующих людей и духовенства как часть эпистолярного жанра, а не как элемент богословской литературы, то следует заметить, что они испытали значительное влияние светских эпистолярных посланий. В церковном эпистолярном этикете обычно приняты поздравления с церковными праздниками: пасхой, рождеством Христовым, именинами, днем рождения, другими церковными событиями.

В письменных посланиях есть такие формулы вежливости, которые отличают церковные от светских. Например, поздравления с пасхой могут начинаться словами Христос воскресе! и заканчиваться Воистину Христос воскресе! (причем важную роль играют также параграфемные средства: данные слова следует писать красным цветом в напоминание о крови Иисуса Христа): "22 марта 1896. Воронеж. Христос Воскресе, глубокоуважаемый Владимир Александрович! Считаю долгом поздравить Вас с Праздником Праздников, с престольным праздником Кремля, этого Алтаря храма Воскресения..." (Из письма русского философа-космиста Н.Ф. Федорова В.А. Кожевникову). Обычные письма также могут начинаться словами Христос воскресе! В пасхальном поздравлении могут содержаться (в зависимости от умений и знаний человека в церковно-славянском языке) архаические и стилистически возвышенные речевые обороты: возлюбленная(ый) о господе!; праздничное ликование сердца; на всех путях твоих.

При официальном обращении к духовному лицу принимают во внимание степень его священства, в зависимости от этого послание начинается со слов Ваше Преподобие (степень диаконства); Ваше Высокопреподобие (степень священничества). Отношение к письменным формам церковного этикета в нашем обществе и языке со временем менялось. В Словаре В.И. Даля и литературе XIX века эти термины, естественно, встречаются часто: "высокопреподобие — титул архимандритов, игумнов и протоиереев"; "Так и так, меня, ваше преосвященство, монахи не любят, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела" (Лесков. Запечатленный ангел); "Меня, ваше преосвященство,

монахи не любят" (Чехов. Княгиня). В "Толковом словаре русского языка" под ред. Д.Н. Ушакова (1934—1940) обращения ваше высоко-преподобие, ваше преосвященство и под. даются со стилистической пометой "офиц.(иальное) церк.(овное)", то есть в 20–30-е годы XX века они еще занимали определенный статус в лексико-стилистической системе русского языка. Однако уже "Словарь русского языка" в 4 томах (М., 1957—1961) исключил данные слова из своего состава, посчитав неактуальными для синхронической системы русской лексики. В последующем все словари придерживались этой позиции, так что, в частности, даже в переиздании "Словаря современного русского литературного языка" (М., 1991) вы не найдете этих слов.

Конечно, эти обращения находятся на периферии русской лексической и стилистической системы, но они используются в текстах репринтных изданий. публикациях религиозной литературы, в текстах

Конечно, эти обращения находятся на периферии русской лексической и стилистической системы, но они используются в текстах репринтных изданий, публикациях религиозной литературы, в текстах современных авторов, употребляются в некоторых ситуациях как духовенством, так и верующими: «Ну что же, Ваше преосвященство, наверное, следует гостям уже читать "Исход"» (Домбровский. Рассказы об огне и глине); "Если вы, ваше преосвященство, этого не умеете, то я вас этому научить не могу!" (Левашов. Журналюга). По-видимому, в толковых словарях следует вновь ввести данные обращения с соответствующей стилистической пометой. Составителям словарей вообще нужно учитывать тот факт, что в ваши дни происходит актуализация церковной лексики, поэтому место таких лексем и этикетных формул не только в специальном "Словаре православной церковной культуры" (СПб., 2000) Г.Н. Скляревской, но и в словарях русского языка.

языка. Церковный речевой этикет складывался долго, однако окончательная структура его сформировалась в XVIII—XIX веках. До 1917 года эти речевые формулы были в широком ходу, в послереволюционное время произошло их перемещение в языковой пассив в результате неязыковых факторов (атеизация страны, закрытие церквей, и т.д.). Однако в наши дни вновь происходит оживление (реанимация) данных речевых моделей. Некоторые элементы церковного этикета уже основательно забыты в связи с утратой церковнокнижного стиля в структуре русского языка в послереволюционный период. Активность использования церковных речевых формул в современном языковом пространстве будет зависеть от многих как внелингвистических (открытие церквей, воскресных школ, увеличение количества прихожан, чтение людьми религиозной литературы, роль масс-медиа), так и лингвистических факторов: будет ли признан в формирующейся стилистической структуре современного русского языка церковнокнижный (под)стиль и насколько глубоко он будет разработан.



Иностранные профессора в Московском университете XVIII–XIX вв.

© С. В. ЛИТВИНОВ, кандидат культурологии

В начале своего существования Московский университет испытывал большую нехватку "национальных достойных людей в науках". Основатель университета — М.В. Ломоносов, проведший большую часть своей академической деятельности в борьбе с немецким засильем, тем не менее поддерживал связи с крупнейшими европейскими учеными и был чужд национальной ограниченности. В одном из писем И.И. Шувалову он говорил, что "у нас ныне нет довольства ученых... Со временем комплект наберется". Единственным выходом из этого положения было привлечение иностранных профессоров, которые смогли бы обеспечить учебный процесс чтением лекций, необходимой методической и учебной литературой.

Приглашение иностранных профессоров для преподавания в университете было не такой простой задачей и решать ее пришлось И.И. Шувалову. Он не стал привлекать свои значительные связи в европейском научном мире, а ограничился помощью сотрудников Петербургской Академии Наук, в частности, академика Г.Ф. Миллера. Используя свой авторитет среди немецких ученых, Г.Ф. Миллер пригласил в Россию несколько профессоров, преподававших ранее в Майнце, Тюбингене и Лейпциге: Ф.Г. Дильтея, И.М. Шадена, И.Г. Фроманна, Х.Г. Кельнера, И.Г. Рейхеля, И.А. Роста, И.Х. Керштенса. В 1756–57 годах они прибыли в Москву. То, что взор Шувалова и Миллера обратился именно на профессоров из Германии, не было случайным. Немецкие университеты к середине XVIII века достигли значительных успехов в преподавании, научной деятельности и пользовались заслуженным авторитетом в Европе.

Условия, на которых приглашались профессора в Москву, оговаривались в специальном контракте: предмет преподавания; срок действия контрактов (достигавший 5 лет); жалованье. При основании

университета была установлена и оплата профессорского труда, которая составляла 500 рублей в год, что было весьма немного. Предприимчивые немцы использовали любую возможность для повышения причитающихся им выплат. Так как университет очень быстро рос и развивался, а специалистов на появляющиеся вакансии катастрофически не хватало, допускалось совмещение основных обязанностей с дополнительной работой. Преподававший в университете английский язык, И.А. Рост читал лекции и по экспериментальной физике, получая за это 100 рублей дополнительно к своему жалованью. Профессор-химик Керштенс имел прибавку за то, что числился врачом в университетской клинике, а профессор всеобщей истории Рейхель — за работу в университетской библиотеке.

В 1766 году наступил срок возобновления контрактов и Керштенс потребовал повышения оплаты до тысячи рублей в год, а Рейхель просил для себя 900 рублей в год. Такими финансовыми возможностя-

В 1766 году наступил срок возобновления контрактов и Керштенс потребовал повышения оплаты до тысячи рублей в год, а Рейхель просил для себя 900 рублей в год. Такими финансовыми возможностями университет не располагал, а дополнительные средства мог выделить только Сенат. Университет же "может дать почести, но не деньги", что, конечно, было слабым утешением для иностранцев, а чрезмерное их увлечение "зарабатыванием" сказывалось на качестве преподавания и на отношении к ним университетской администрации.

лить только Сенат. Университет же "может дать почести, но не деньги", что, конечно, было слабым утешением для иностранцев, а чрезмерное их увлечение "зарабатыванием" сказывалось на качестве преподавания и на отношении к ним университетской администрации. В этой связи интересна история университетского профессора Ф.Г. Дильтея, который по прибытии в Москву выразил желание читать лекции по многим правоведческим дисциплинам: праву естественному, народному, феодальному, государственному. Причем читать он мог на четырех языках (латыни, немецком, французском и итальянском) по выбору студентов. Вначале он очень ревностно относился к своим обязанностям, пытался изучать русский язык, устраивал студенческие диспуты, но с течением времени Дильтей все меньше уделял внимания факультету и студентам, что, естественно, сказалось и на положении дел с преподаванием, и на отношении к нему университетского начальства. Его обвинили в том, что, "не зная основательно русского языка и русских законов, Дильтей не мог в своих лекциях возбудить интереса к отвлеченной мертвой науке" (Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета за истекающее столетие со дня учреждения. М., 1855).

тетского начальства. Его обвинили в том, что, "не зная основательно русского языка и русских законов, Дильтей не мог в своих лекциях возбудить интереса к отвлеченной мертвой науке" (Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета за истекающее столетие со дня учреждения. М., 1855).

В 1765 году Дильтей был уволен из университета по инициативе куратора В.Е. Адодурова, однако настойчивость немецкого профессора, а также помощь влиятельных русских друзей способствовали тому, что прошение Дильтея о восстановлении в должности профессора было рассмотрено самой императрицей Екатериной II, которая приказала Адодурову вернуть его в университет. При заключении нового контракта Дильтей захотел к своим основным обязанностям добавить и преподавание греческого языка, однако проведенный по требованию Адодурова экзамен показал, что этим языком Дильтей вла-

деет недостаточно: "из Гомера некоторым словам дал... наименование совсем неправое, а в иных погрешил и не распознал двойственного числа особенного у греков, так и из Пиндара первых двух строк не понял и не истолковал свойств дорического наречия; а в назначенный с латинского на греческий язык перевод сделал совсем не по свойству греческого языка и не наблюдал в нем греческого сочинения" (Биографический словарь профессоров и преподавателей...).

Возвращение Дильтея к преподаванию юридических дисциплин привело к некоторому улучшению положения дел на юридическом факультете. Он создал несколько учебных пособий, улучшил свои курсы, а также попытался соотносить преподаваемые им дисциплины с историей русского права. Однако в его работе просматривались присущие многим иностранным профессорам недостаточная ответственность, легкое отношение к делу, часто переходящее в небрежность. Профессора-иностранцы не пытались понять особенности российского образа жизни, а также задачи зарождавшегося русского высшего образования.

Материальные проблемы, вызванные небольшим университетским жалованьем, оказались весьма незначительными на фоне того непонимания русской действительности, которое было плодом предвзятого отношения немцев к России. Они считали, что русское варварство нельзя истребить никаким просвещением и потому смотрели на русское общество с чувством брезгливости и презрения, видя в себе истинных просветителей, несущих русским дикарям свет с Запада. Показательны в этой связи строки из письма в Германию немецкого профессора Мюллера-Дитца, где он писал, что находится "среди варварства без границ, среди общего отупления благородных чувств, среди полного удушения всего доброго, среди вечных мечтаний без реальности, среди проступков без цели" (Müller-Dietz H. Deutsche Gelehrte erleben Russland // Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19Jh. München, 1992).

Возникает вопрос, что же заставляло иностранных профессоров идти на такие моральные мучения, оставаться работать в глубоко чуждой им России? Ответ не так просто найти. Прежде всего следует помнить, что Россия всегда привлекала к себе взоры различных авантюристов, искателей легких денег и чинов.

Не избежал этой участи и Московский университет, особенно в первый период своего существования. Большая текучесть кадров среди профессоров-иностранцев особенно сказывалась на преподавании иностранных языков. Многие лекторы иностранных языков работали в университете недолго, сведения о них очень скупы.

Большой проблемой для университета, его профессоров и студентов был выбор языка преподавания. От правильности этого выбора зависело многое: успехи студентов в изучении наук, развитие профес-

сиональных способностей преподавателей, значимость университета в общественной жизни России. Иностранные профессора, при всей их в оощественной жизни госсии. Иностранные профессора, при всеи их учености и большом опыте преподавания, из-за недостаточного знания русского языка зачастую не могли донести до слушателей суть преподаваемых ими дисциплин. Оправдывая чтение лекций на современных иностранных языках и латыни тем, что русский язык еще неменных иностранных языках и латыни тем, что русский язык еще недостаточно развит для выражения сложных научных понятий, иностранные профессора на самом деле прикрывали свое нежелание изучать русский язык до такой степени, чтобы можно было профессионально читать лекции на нем. Один из первых русских профессоров в университете, ученик Ломоносова, Н. Поповский говорил о важности преподавания сложнейшей научной дисциплины — философии именно на русском языке. "Начнем философию не так, чтобы разумел только один изо всей России, или несколько человек, но так, чтобы каждый, российский язык разумеющий, мог удобно ею пользоваться... Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить было невозможно" (Биографический словарь профессоров и преподавателей...). Развитию преподавания на русском языке способствовал процесс развития русской научной терминологии, который к середине XIX века приобрел стабильный характер.

Однако отсутствие лекций на русском языке в начальный период истории университета имело определенные объективные причины: основная масса студентов была представлена бывшими семинаристами, владевшими латинским языком, при этом было сильно стремление следовать европейским университетским традициям, где латинский язык искони использовался для преподавания и делопроизводст ва. В 1765 году профессора постановили, что протоколы университетской Конференции должны вестись не на французском языке, а на латинском, "что более приличествует университету" (Документы и материалы по истории Московского университета второй половины XVIII века. М., 1962–1963).

XVIII века. М., 1962–1963).

Несмотря ни на что, иностранные профессора внесли значительный вклад в развитие Московского университета, а преподавание ряда дисциплин без них было бы вообще невозможно. Автор "Голоса старого студента" — незамысловатых виршей — говорит о роли немцев в русском образовании: "...к сердцу руку приложив, /Мы скажем к чести иноземцев: / Младенец русской был бы жив/ В дни первые без мамок-немцев?/ До нас задолго сняли пенки/ Они с художеств и с наук/ И русское дитя пеленки/ Брало лишь из немецких рук" (Петров Ф.А. Немецкие профессора в Московском университете. М., 1997).

К оценке роли иностранных профессоров в Московском университете следует подходить объективно: не стоит преувеличивать ее, а также недооценивать. Среди них встречались люди, по-разному относившиеся к своим обязанностям. Были и посредственные ученые, и

равнодушные к студентам преподаватели, встречались даже авантюристы. Многие из них образовывали различные враждебные русским профессорам партии. Но большинство пользовалось заслуженным уважением и любовью студентов. Ими было немало сделано для развития преподавания многих университетских дисциплин во второй половине XVIII – первой половины XIX века: Ф.Г. Баузе и Ф.Х. Рейнгард (юриспруденция), Х.А. Шлецер и И.К. Бабст (политическая экономия), И.Г. Шварц и И.Ф. Буле (философия), И.М. Шаден (филология), Х.Ф. Маттеи (история античности), К.К. Герц (искусствоведение), Г.Ф. Гофман, отец и сын Фишеры (ботаника и зоология), Ф. Гольдбах и К. Швейцер (астрономия), Н.Д. Брашман (математика), И.Х. Эразмус, В.М. Рихтер (медицина).

Многие иностранные профессора остались в России навсегда, найдя здесь свою вторую родину, некоторые основывали профессорские династии. Деятельность иностранных профессоров в Московском университете сыграла свою роль и в развитии русской национальной профессуры. По меткому выражению историка А.Н. Пыпина, в сотрудничестве с иностранными профессорами "приобретался научный метод, но национальность наших ученых" не несла никакого ущерба, так как "чужой авторитет не становился верой, но часто будил собственную мысль" и результатом научных влияний западной школы становилось вовсе не рабское подчинение, а просто некое усвоение знания.

Иностранным профессорам традиционно оказывалось высокое доверие занимать выборные административные должности в университете. Особенно стал известен И.А. Гейм, который в течение одиннадцати лет был ректором университета. Его ректорство пришлось на трудные годы, связанные с вторжением в Москву Наполеона, пожаром, уничтожившим большое количество университетского имущества, а также послевоенным восстановлением и развитием университета.

Новый период деятельности профессоров-иностранцев в Московском университете начался с принятия первого университетского устава в 1804 году и приходом М.Н. Муравьева на пост куратора университета. Он считал, что приглашение профессоров-иностранцев носит временный характер, но оно совершенно необходимо для того, чтобы организовать преподавание новых дисциплин, вводимых уставом 1804 года, а также для того, чтобы образовать новое поколение русских ученых. В своем предписании ректору Х.А. Чеботареву Муравьев подчеркивал: "Желание привлечь иностранных профессоров требует большого снисхождения на их требования. Надобно, чтобы каждый из них образовал у себя последователей... Университет должен иметь преподавателей для всех отраслей человеческих знаний. Мы должны теперь выписать профессоров, чтобы впредь их не выписывать" (Университет для России. Университет в александровскую эпоху. М., 2001).

Муравьев, продолжая политику своих предшественников, прежде всего Шувалова, старался приглашать для преподавания ученых, известных своими научными и педагогическими достижениями. В первый год деятельности на посту попечителя университета (1803 г.) он в своем отчете писал: "Но как общий план университетов полагает больше число профессоров, нежели сколько существовало их в университете... и как по выбытию смертию знаменитейших членов университета, некогда из чужих краев вызванных, места некоторых оставались праздными, ... принял я намерение заблаговременно возобновить учение призванием из чужих краев способных профессоров... относился я предположениями к общему собранию профессоров, которое... предложило вызвать: профессоров Геттингенского университета – ботаники Гофмана, статистики Грелльмана, химии — Рейса, философии Кельнского университета Рейнгарда, доктора медицины Иде ..." (История имп. Московского университета, написанная к столетнему юбилею университета проф. Степаном Шевыревым 1755–1855. М., 1855).

За 1803 год Муравьев пригласил девять профессоров из Германии. Прежде всего, это были ученые, преподававшие предметы, особенно разработанные в Германии; в России же по этим предметам специалистов почти не было. Это — философия, теории изящных искусств.

В первой трети XIX века произошло качественное изменение в отношениях между русской и западноевропейской науками: длительный период, когда русская наука выступала ученицей западноевропейской, завершился. Русская наука все больше становилась частью науки европейской. Это выражалось в том, что многие русские ученые, находясь на стажировке в Европе, избирались членами западноевропейских научных обществ, академий. Все более частыми становились длительные поездки русских ученых за границу для участия в международных конгрессах и для проведения научных иссле-

лись длительные поездки русских ученых за границу для участия в международных научных конгрессах и для проведения научных исследований.

дований.

К середине 30-х годов XIX века преподавание в университете почти полностью сосредотачивается в руках русских профессоров, а число профессоров-иностранцев значительно сокращается. Меняется сама система обучения, в которой упор делается не на приглашение иностранных профессоров в университет, а на отправку наиболее талантливых студентов за границу, в лучшие европейские университеты — Берлинский, Геттингенский, Лейпцигский. Это не только расширяло научный кругозор студентов, но и позволяло им самим выбирать учебные заведения, научные курсы и профессоров, лекции и практические занятия которых были необходимы для овладения конкретной специлиностью альностью.

Изменение системы приглашения профессоров-иностранцев для преподавания в Московском университете вовсе не означало того, что

иностранцы прекратили свою преподавательскую деятельность. И во второй половине XIX века в университете преподавали профессораиностранцы, хотя доля их постепенно снижалась и к концу века составляла чуть более десяти процентов (Петров Ф.А. Указ. соч.).

К середине XIX века в основном завершился процесс создания российской системы университетского образования, которая предполагала наличие достаточного количества высококвалифицированных отечественных научных и педагогических кадров. Проблема приглашения иностранных профессоров, в определенные моменты истории Московского университета стоявшая достаточно остро, перестала быть столь актуальной. Усилился процесс "врастания" иностранных профессоров в среду русской культуры. Из "учителей" они превращались в равноправных с русскими сотрудников университетского сообщества, что делало Московский университет похожим на университеты других европейских стран.

ДЕТСКИЕ ПРОЗВИЩА КАК ЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ

© Г.В.СУДАКОВ, доктор филологических наук, Е.А.СЛАВНОВА

Самая, пожалуй, распространенная форма языковой игры — это прозвища, которые дети присваивают окружающим. Реализуя экспрессивную функцию, прозвища активно входят в речь школьников, являясь частью подростковой культуры: насколько широки возможности детской фантазии, настолько велико разнообразие моделей и оценок, выражаемых в этих дополнительных именах. Прозвища, которые "приклеивают" школьники своим одноклассникам и учителям, нужны как условный знак маленькой замкнутой "корпорации". Их употребление в речи является одним из ярких показателей специфики школьного коллектива, отличая его от других социальных групп. Прозвища, созданные часто по определенному шаблону, как правило, используются в эмоциональном контексте, привлекая тем самым внимание окружающих.

В течение четырех лет мы изучали систему и динамику прозвищных именований в нескольких вологодских школах. Была разработана специальная методика, позволяющая наблюдать речевые вкусы и привычки одних и тех же классных коллективов в течение длительного времени, не привлекая внимания детей к нашему эксперименту.

От чувств, которые испытывает ребенок к товарищам и учителям, зависит форма прозвищного именования: при помощи суффиксов субъективной оценки может выражаться положительное отношение – Димакратик (Дима), Мамонтенок (Момотова), Степашка (Степанова) и негативное – Бойцуха (Бойцова), Карпуха (Карпова), Сараюха (Сараева), Трудиха (Трудова).

Часто оценки именуемого содержатся в самом слове-прозвище: Заноза — отрицательная окраска создается за счет актуализации значения "задиристый, не дающий покоя"; Супер (лучший футболист в школе), Мегавольт (учитель физики) — значение повышенности качества (супер, мега) передает восторженное отношение к именуемым.

Образования, омонимичные сокращенным вариантам личных имен и фамилий, используются в дружеских компаниях: Aким - Aкимова, $A\phi o H - A\phi$ онин, X d a H - M данова, $\Phi u n H - \Phi$ илиппов, $\Theta p a - \Phi$ Орова и др., но употребление подобных форм в адрес учителей носит

оттенок фамильярности, пренебрежительности: Зося — Тамара Изосимовна, Клавдий — Сергей Клавдиевич, Платон — Андрей Платонович. Это самый простой способ, который применяется не только при известной семантике, но и в случае, когда этимология основы производящего слова является затемненной. Также именования на -а решают проблему поло-родового несоответствия: они свободно могут называть как девочек, так и мальчиков (например, Степа — Степанова Оля и Степанов Саша).

Для создания игрового эффекта могут сочиняться искусственные антропонимы путем произвольной мены исходных частей: Бела Киров – Киря (Кирилл) Белов, Карпа Наствева – Настя Карпова, Леша Олева – Оля Лешукова, Степа Ирова – Ира Степанова, Тюря Юриков – Юра Тюриков и др. Созданные стихийно, подобные прозвища чаще всего обречены на кратковременность существования: один человек случайно оговорился, сказав Труда Танева вместо Таня Трудова, и в течение минуты появилось еще несколько подобных образований (Бруся Катева – Катя Брусенская, Боря Светова – Света Борисова, Глеба Юлева – Юля Глебова, Тата Ирова – Ира Татаринова и др.). Эти игровые формы ничем не отличаются от официальных имени и фамилии, поэтому, быстро утратив новизну, вскоре исчезают или трансформируются: из имени Аня Баннова создается прозвище Баня Аннова, которое на следующий же день сокращается до Бани и т.д.

Часто в основе прозвищ лежат обнаруженные у других отрицательные черты, которые дают почву для именования: *Кагорыч* — учитель по отчеству Егорович, который любил выпить, *Коля Куб* — очень толстый мальчик ("что в длину, что в ширину"), *Марсианин* — мальчик с овальной головой, *Мутный* — мальчик носит очки с очень толстыми стеклами, за которыми глаза кажутся мутными и др.

По мере взросления школьников в их речи усиливается субъективный фактор, и поэтому в повседневном общении они часто стремятся придать "обычным" (нейтральным) словам уникальные значения, что приводит к появлению следующих именований: Kиллер — от имени Кира, Чирок — Кряквин, Бройлер — Курочкин, Авторезина — Колесов, Доллар, Рубль, Копейка — Копейкин, TT — Трифонова Таня, Мокруха — "дочь киллера" (у девочки папа — охотник), Птица — Синицына, Bизажист — Сорокин (Copokuh — Capa — Capa Mohsahu [визажист, известный по телерекламе] — Busaжист).

Поводом для образования прозвища может стать случайная черта, приписываемая человеку (или его имени), которая формирует различные эмоционально-оценочные смыслы, актуальные только в данных ситуациях, коллективе: Авдотья— девочка любит конфеты "Дунькина радость", Боровик— Боровикова, которую через полтора месяца стали называть Гриб, а после того как эта девочка неудачно покрасила волосы в зеленый цвет и кто-то в классе сказал: "Гриб за-

плесневел!", прозвище изменилось на Π *лесень*, A*квариум* – создано от шутливого имени $B\Gamma$ (Борисова Галя) по ассоциации: $B\Gamma$ – Борис Гребенщиков, лидер группы "Аквариум" др.

Случайные ассоциации, влияющие на появление прозвищных именований, порождаются конкретной ситуацией и, чаще всего, с ней исчезают. Например, на уроке информатики школьники составляли программу, в результате работы которой на мониторе появлялись их инициалы, а наиболее благозвучные из них были присвоены в качестве прозвищ, $EE\Gamma$, HJO, KPA, TT, CC и др. Полученные в результате аббревиации образования, имеющие взаимосвязь с реальными единицами языка, являются омонимичными им, могут надолго закрепиться в сознании школьников или получить другую мотивацию: $MV\Phi$ – $Mu\phi$ -универсал, MEJ – Illet — Illet

Отыменные образования (в основе номинации может быть имя, отчество, фамилия) являются специфическими среди всего разнообразия прозвищ. Они не опираются на реальные свойства носителей, а извлекаются из содержательного смысла имени или фамилии, а также их созвучия с именем нарицательным: Аббат — Оботуров, Артемон — Артюгина, Бройлер — Курочкин и Окорочок — Курочкин, Балалайка — Басалаев, Брусника — Брусенская, Бутанол — Бутусова, Героин — Герасимчик, Зверь — Зерин, Кефир — Никифорова, Кожемяка — Шемякин, Кость — Кастерина, Пешкарик — Пешкова. Этот способ используется при этимологически затемненной внутренней форме исходного имени: если школьниками четко не осознается содержание фамилии, оно изменяется и приводится, по мнению создающих прозвище, в большее соответствие с формой. В таком случае происходит ошибочное или шутливое переосмысление значения. Дети создают именование на основании ассоциаций с теми или иными знакомыми словами, что приводит к полной замене фамилии с непонятным значением на прозвище, созвучное с ней, но обязательно ясное по смыслу.

При актуализации лексем одного ассоциативного поля в таком случае могут отражаться родо-видовые отношения (*Птица* – Синицына, *Чупа-Чупс* – Леденцов), видо-видовые отношения (*Авторезина* – Колесов, *Водолаз* – Дуболазова, *Заполева* – Залесова, *Филин* – Савинов, *Чирок* – Кряквин), ситуативно обусловленные метонимические

отношения (Заноза — Щепкина, Колючий — Ежов, Мурлыкалка — Котов, Окорочок — Курочкин, Тычинка — Пестикова), синонимические отношения (Бройлер — Курочкин, Доллар, Рубль, Копейка — Копейкин, Долгама — Долгая и Широта — Ширикова, Рефрижератор — Холодилова), антонимические отношения (Длинная — Короткова, Младокленова — Стародубова). В данном случае создается возможность выбора различных направлений обыгрывания основы фамилии, так как одна и та же звуковая форма заключает в себе перспективы неоднозначного "прочтения" и условной семантизации на основе сближения с фонетически сходными словами. Например: Аллигатор — от отчества Олеговна и Аллигатор — от отчества Геннадьевич (Геннадьевич — крокодил Гена — Крокодилович — Аллигаторович).

Прозвища у детей могут появляться в результате замещения русского имени иноязычным эквивалентом, что усиливает ассоциативную ориентацию обыгрываемой структурной модели и отличается необычностью, новизной: Андриано Разыграно — Андрей Разыграев, Ванидзе Михайлидзе — Ваня Михайлов, Мария Хлопес — Маша Хлопина, Никола Лапиньо — Коля Лапин после поездки в Италию).

Часто создаются шутливые именования с привлечением имен широко известных личностей, фольклорных и литературных персонажей – прозвища с "культурологической ориентацией". Подбор прозвища в этом случае может происходить по принципу его постоянной сочетаемости, созвучности с исходным антропонимом: Анка-Пулеметчица – Аня, Гагарин – Юрий Алексеевич, Ельцин – Борис Николаевич, Киса — Воробьянинов, Корнет — Оболенский, Пушкина — Александра Сергеевна, Шифрин — Ефимов, Шостакович — Шестаков; Артемон — Артюгина, Бэтмэн — Батамин, Горыныч — Горынцева, Кот-Котофеич — Котов, Курочка Ряба — Рябечков.

Способом усечения создаются единицы, специфические для разговорной речи: их отличает краткость, выразительность и экспрессивность, фамилии подвергаются усечению, так как они часто употребляются в различных ситуациях и в сокращенном виде не затрудняют общение; во многих случаях укорачиваются длинные фамилии и имена.

Постоянны в школьной жизни и учительские прозвища, которыми пользуются в отсутствие именуемого для создания своеобразной социально-речевой обстановки в классном коллективе. Прозвища педагогов неоднородны по своему значению, характеру и определяются особенностями взаимоотношений, присущих данному коллективу. Представляя собой нежелательное в школьной жизни явление, некоторые прозвища все же звучат как комплимент (например, Супербизон – учитель физкультуры с хорошей фигурой, сильный и выносливый). В мягкой форме ребята могут посмеиваться над преподавателями, которых ценят и уважают, но замечают в их поведении какиелибо особенности: Иноземушка – учитель английского языка, очень

интересный и умный, но скромный; *Мегавольт* — учитель физики, увлеченный предметом, умеет заинтересовать ребят, но предъявляет к ним высокие требования; *Меридиашка* — учительница географии, миниатюрная и стройная, при этом всегда носит платья в продольную полоску. В то же время в адрес нелюбимых педагогов звучат едкие, уничижительные прозвища: *Аллигатор*, *Глобус в очках*, *Жаба*, *Заноза*, *Иявка-Пиявка*.

Внешним толчком к присвоению прозвищного именования может послужить неправильное или какое-то вычурное произношение слов: Tыча — так назвали учительницу английского языка, которая так произносила слово tеасher ("учитель"); учитель нечленораздельно произносит слово tеалье (как "чеек"), что напоминает шестиклассникам название гриба — tилик (моховик), такое прозвище преподаватель и носит — tилик, а его жена, работающая учителем физики в этой же школе, зовется учениками t

Самые традиционные прозвища указывают на предмет, преподаваемый учителем: Колба — учитель химии, Принтер — учитель информатики. В антропониме могут отражаться какие-либо черты внешности или характера педагога: Глобус в очках — учитель географии, пожилая и неприветливая женщина в больших круглых очках; Единица — очень высокая учительница математики с длинным носом; Карандаш — учитель черчения. Своим видом он напоминает семиклассникам Карандаша из мультфильма или журнала "Веселые картинки": невозмутимый и всегда спокойный, лысый с бородкой-клином. Тетя Поля-Семядоля — так прозвали учителя биологии Полину Семеновну, невысокую, полную, добродушную. Хламидомонада — учитель биологии очень высокого роста; когда школьники впервые услышали от нее это слово, то решили, что у такого высокого человека должно быть и длинное прозвище.

Ученики могут находить сходство учителей с животными: Аллигатор — Елена Олеговна, очень строгая, с вытянутым носом; Ворона —
всегда лохматый учитель физики, Иявка-Пиявка — завуч Ия Алексеевна, придирчивая и "приставучая", Жаба — так в одной школе назвали
трех разных преподавателей: учитель биологии (толстая, однажды на
уроке зевала и ей в рот залетела муха); классный руководитель (женщина невысокого роста, полная, носит зеленый костюм); учитель русского языка (толстая, с бородавками на шее, постоянно отчитывает
ребят — "квакает"). Молодой преподаватель 1 сентября пришел в зеленых брюках, а когда представлялся классу, нечетко произнес свою
фамилию — Квасов. Ученики тут же переделали ее в Кваков и дали географу прозвище Квака.

Имена, отчества и фамилии учителей в совокупности с какими-либо внешними чертами предоставляют учащимся широкие возможности для словотворчества. Сами по себе официальные имя, отчество, фамилия являются одним из основных источников появления прозвищ за счет различных ассоциаций: морфологической деформации личных имен (Лякс Ляксыч – Александр Алексеевич, Орех Вареньевич – Олег Валерьевич, Майкл Макаронович – Михаил Миронович), сокращения, сложения основ, аббревиации (Саванна – Светлана Ивановна, Сандра – Александра, Тазиха – по инициалам Т.А.З., Уазик – по инициалам У.А.З.), различных трансформаций исходных имен, часто с учетом нескольких признаков (Лжедмитриевна – историк Ольга Дмитриевна, Ниноль – учитель математики Нинель Сергеевна, Полкан – преподаватель начальной военной подготовки, по воинскому званию полковник и распространенной собачьей кличке, Микрофон – Митрофан Алексеевич + высокий, худой, сутулый, Хоттабыч – Валерий Хабибович).

Как правило, в прозвищах в качестве главного признака выступают наиболее известные предметы и явления из окружения школьников: Куку-Руку (Кукушкина), Галина Бланка (Галина Николаевна), Кириешка — Кира, Леха Твикс, Супербизон, Спайдермэн (мальчик долго носил футболку с изображением человека-паука), Бэтмэн (Батамин), Долматинец (Толмачева), Фруктовый сад (три друга с фамилиями Арбузов, Лимонов, Яблоков), Фрутелла (мальчик, похожий на актера из рекламного ролика) — свидетельствуют о влиянии рекламы, западных кино- и мультфильмов; Бутанол, Феррум, Рефрижератор, Долгота и Широта, Единица, Колба, Лжедмитриевна, Меридиашка, Мегавольт, Хламидомонада указывают на связь с предметами школьной программы. О меткости и образности речи говорят образования: Анька Дизель — очень подвижная девочка, никогда не сидит на месте, Баламут — лидер класса, постоянно предлагает что-нибудь "замутить", Светило — девочка в белой блузке несколько раз проходила мимо группы ребят, и они обратили на нее внимание, т.е. она "засветилась" и др.

Интерес к прозвищам как явлению языковой игры дает возможность установить, какие ресурсы языковой системы при этом используются, а внимание к условиям появления и бытования дополнительных именований в среде школьников позволяет педагогам оценить психологический климат в коллективе и в случае необходимости его скорректировать.

Новости лексикографии

"Словарь русского языка XIX века"

© В. Н. КАЛИНОВСКАЯ

"Словарь русского языка XIX века" – новый лексикографический проект Российской академии наук. В течение двух лет над ним активно работают в Институте лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге.

Для филологов-лингвистов необходимость в создании такого словаря стала особенно очевидной после того как во второй половине прошлого столетия взяли старт сразу несколько исторических словарей, из которых наиболее значимыми стали "Словарь русского языка XI—XVII вв." и "Словарь русского языка XVIII в." Ими уже на протяжении нескольких десятилетий с благодарностью пользуется не одно поколение специалистов: лингвистов, литературоведов, историков, историков культуры и просто любителей русского слова. Каждый очередной выпуск ожидается с большим нетерпением.

Идея подобного словаря для русского языка XIX века возникла на пике развития исторической лексикологии и лексикографии – в 60-70-е годы прошлого века. Появились различные проекты словарного описания лексического состава русского литературного языка в эпоху его кардинальных преобразований. На эту тему неоднократно высказывался в своих работах академик В.В. Виноградов. В середине 80-х годов XX века известные русские ученые Ю.С. Сорокин и Л.Л. Кутина, представляющие петербургскую школу исторической лексикологии и лексикографии, предложили новаторскую концепцию исторического словаря XIX века, суть которой – в дифференциальном подходе к словарному составу языка. Объектом описания в будущем словаре должны стать, по замыслу ученых, лишь те элементы словарного состава, которые претерпели изменения на протяжении XIX века (новые слова, новые отдельные значения, стилистическая характеристика, сочетаемость, специфика употребления слова и т.д.).

Исключительность этой работы состоит также в том, что перед

Исключительность этой работы состоит также в том, что перед авторами и участниками поставлена задача сделать словарь подлинно историко-культурным, т.е. показать в словаре не только историю появления отдельных лексических единиц, но также источник заимствования, индивидуальное авторство и т.п. Особое место в словарной статье займет комментарий, касающийся отдельных явлений и предме-

тов материальной и духовной культуры XIX века. В качестве примера лексики, требующей специального комментария, можно привести слова-наименования с различной конкретно-предметной отнесенностью: бордо (сорт красного вина), дагерротии и дагерротипия, дортуар (общая спальная комната в закрытом учебном заведении), мансарда, богемка (название типа верхней одежды как один из случаев омонимии XIX в.), кардинал, макинтош, вольтер (или вольтерово/вольтеровское кресло). К разряду таких "культурных" слов можно отнести также многочисленные случаи неологии в сфере научной, экономической и общественно-политической терминологии: гипноз (в современном его значении) и гипнотизм, меркантильный, коммунизм, коммунистический и мн. др. Комментарий, таким образом, позволит увидеть историческую специфику содержания многих ставших привычными для нас общелитературных слов, вошедших в употребление в XIX веке.

Словарь покажет не только характерную для XIX века специфику содержания терминов, но и (что особенно важно) эволюцию их смысла. Такого рода изменения, например, коснулись практически всего гнезда философских терминов с корнем гуман- (гуманный, гуманист, гуманизм, гуманитарный и т.д.).

Историко-культурная информация появится не только в отношении заимствований, но также в словарных статьях, касающихся традиционной книжной лексики, т.е. некоторых славянизмов, развивших новое значение в XIX веке, или неославянизмов, созданных на исконной словообразовательной базе (народность, человечность и др.). Культурный слой лексики, требующей специальных пояснений, составят мифологизмы различного происхождения (например, амфитрион в значении "глава, председатель литературного салона, собрания"). Рассматриваемая эпоха представляет интерес с точки зрения отра-

Рассматриваемая эпоха представляет интерес с точки зрения отражения в языке социальных процессов, которые характеризовались необычайной интенсивностью и привели к значительным структурным изменениям не только в самом российском обществе, но и в системе литературного языка, его обслуживающего. В словаре найдет отражение социокультурная норма, проявлявшаяся на разных уровнях функционирования слова или словоформы (сфера употребления, разного рода оценочные характеристики, традиции произношения в том или ином территориальном и культурном социумах и т.п.). Социокультурный аспект является особенно важным и значимым в словаре XIX века: в этой связи привлечение новых источников (текстов), на длительное время, по разным причинам, в том числе и идеологического характера, выключенных из научного обращения, сделает наши представления о "золотом веке" в истории русской культуры и литературы более объективными и многомерными, позволит по-новому оценить наши приобретения и утраты на пути развития и совершенствования родного слова, развития национального самосознания.

Конечно, воплощение в реальность этого проекта потребует от его авторов и непосредственных исполнителей длительного времени и колоссальных усилий. На его фундаментальность и общественную значимость обращалось внимание в процессе обсуждения Проекта Словаря. Дискуссия состоялась в марте 2003 года в рамках ежегодной международной научной конференции (филологический факультет, СПбГУ). Обсуждение, в котором приняли активное участие многие российские ученые-филологи (А.А. Алексеев, А.В. Жуков, Л.Я. Костючук, О.С. Мжельская, В.М. Мокиенко, А.Б. Муратов, Р.П. Рогожникова, Л.И. Скворцов, Г.В. Судаков, А.Я. Шайкевич и мн. др.), показало необычайную заинтересованность в предпринятом лексикографическом начинании всех участников. Об этом свидетельствовали серьезность и высокий научный уровень дискуссии, в центре которой были вопросы хронологических границ и источников будущего словаря.

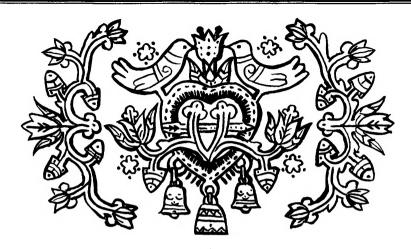
фическом начинании всех участников. Об этом свидетельствовали серьезность и высокий научный уровень дискуссии, в центре которой были вопросы хронологических границ и источников будущего словаря. В настоящее время работа над Словарем XIX века ведется сразу в нескольких направлениях. Без сомнения, одним из основных является формирование лексической базы нового словаря. В распоряжении участников проекта уже имеется Картотека XIX века, созданная на основе специальной выборки текста, учитывающей дифференциальный характер словаря. Именно в этом состоит ее ценность, кроме того, она значительно дополняет Большую картотеку (Картотеку "Словаря современного русского литературного языка") в плане источников. Создается также электронная картотека, которая позволит составителям более эффективно работать над словарем. Большую роль выполняет Картотека "Словаря русского языка XVIII века" (в т.ч. уже вышедшие выпуски Словаря), помощь которой в определении новаций XIX века и дальнейшей динамики лексического состава русского языка предыдущей эпохи бесценна.

Имеющаяся в распоряжении участников проекта значительная

Имеющаяся в распоряжении участников проекта значительная лексическая база делает возможным параллельно осуществлять составление пробных словарных статей.

Участники проекта получили поддержку в научной среде: свидетельство тому не только упоминавшийся Круглый стол, но и состоявшаяся осенью 2004 года в Санкт-Петербурге конференция по актуальным проблемам исторической лексикологии и лексикографии, посвященная "Словарю русского языка XIX века".

Хотелось бы еще раз подчеркнуть общественную значимость данного проекта, цель которого восстановить разорванную цепь времен, приблизить XIX век к нашему современнику, дать возможность почувствовать "языковой вкус эпохи" и прикоснуться еще к одной драгоценности – нашему родному слову.



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РОССИЙСКИХ ФАМИЛИЙ

© В.О.МАКСИМОВ, директор Исследовательского центра "История фамилии"

Аскрётков, Оскрётков. В XIX—XX веках в южных и западных русских диалектах бытовало слово оскрёток. В орловских, калужских, тульских, смоленских и псковских говорах так называли осколок, черепок, обломок чего-либо; в орловских, калужских и курских — лучину для растопки или освещения, огарок; в пензенских — сточенный нож. А в воронежских говорах так называли здорового, крепкого, обладающего недюжинной силой человека. Все эти значения могли стать основой личного имени или прозвища Оскрёток. Большинству этих говоров свойственно "аканье", поэтому здесь имя-прозвище Оскрёток могло быть записано и как Аскрёток.

Валявин, Валявкин, Валявка, Валявко. Валявой, валявкой, так в прошлом называли лентяя, неряху, соню. В.И. Даль записал это слово с пометой "костромское". Но существуют, например, белорусские фамилии Валявка и Валявко, а в Черновицкой и Черкасской областях на Украине селения с названием Валява. Уверенно говорить о первоначальном значении их названий сложно, но, без сомнения, слово валява и прозвище Валява в прошлом были распространены на значительно большей территории. У нас в России, кстати, тоже есть такие названия, например, Валявино — в Оренбургской области и Валявиха — в

Нижегородской. Но самое первое упоминание, которое нам встретилось в грамоте 1571 года, все-таки относится к Костромскому уезду: "...да на реке на Андоме починок Валявин".

Кармацкий, Кармацких. Прозвание Кармацкий давалось человеку, приехавшему на новое место жительства из населенного пункта с названием Кармак, Кармаки, Кармацкое и т.д. До настоящего времени деревня Кармак сохранилась, например, в Свердловской области, а в Тюменской – две деревни с названием Кармацкая. Исследователями русских говоров Сибири было отмечено, что кармаками в старину называли какие-то виды поселений (но, вероятно, даже старожилы уже не помнили – какие). В грамоте 1682 года сообщается: "...посыланы они [стрельцы] были с Тюмени... на далные кармаки". Но о том, что представляли собой такие поселения, можно догадаться, если сравнить другие значения слова кармак: в астраханских говорах — "самоловный прибор с удой на белорыбицу", в украинских — "рыболовное устройство". Их значения восходят к заимствованному славянами у тюрков слову кармак — "удочка, рыболовный крючок". Поэтому, вероятнее всего, кармаками назывались не постоянные поселения, а сезонные рыболовные угодья, места, где расставлялись рыболовные снасти. Кармацких — традиционный для Русского Севера вариант оформления фамилии — именно здесь семейные прозвания часто возникали в форме ответа на вопрос "чьих будете?".

Катураев. *Катураем* в тверских землях в середине XIX века называли деревенского торговца-лавочника.

Коцевал, Коцевол, Коцеволов, Куцевал, Куцевол, Куцевалов, Куцеволов. Коцевалом или куцевалом в старину называли валялыцика, т.е. человека, который изготавливал, валял из шерсти или пеньковой пряжи покрывала, одеяла, ковры. Древнерусское коц, коца "княжеск. одежда; модное верхнее платье" (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967), позднее "грубая ткань", "ковер". По Фасмеру, это название было заимствовано из древнегерманских языков через польский, в котором кос – "одеяло", "плотная материя". Название коцевал бытовало в украинских, белорусских и, возможно, в некоторых западнорусских говорах: в большинстве русских говоров эта профессия носила название – постовал. Об этом напоминает, например, существование характерных для белорусско-украинских фамилий вариантов – Коцевал, Куцевал и Куцево, а также сохранившаяся до наших дней в Кировоградской области на Украине деревня Куцеволовка. Интересно, что еще в конце XIX века она носила название — Куцеваловка: даже в период Великой Отечественной войны еще бытовали оба варианта ее названия. Форма же куцевал возникла, вероятнее всего, из-за особен-

ностей говора: так же, как в России *постовал* в обиходе и последующим написании нередко "превращался" в *пустовала*.

Люшнин, Люшненко, Люшня. Словом *люшня* в украинских и южно-русских говорах называли деревянный стержень, скрепляющий ось колеса с кузовом телеги. Существовало и мирское имя *Люшня* (казак Кальницкого полка Игнат Люшня, 1649 г.).

Недведский, Недвецкий, Недзвецкий. В основе этой фамилии западное, но славянское слово: в польском языке Niedzwiedź — "медведь", так же, как и у нас на Руси, — прозвище неуклюжего человека. Встречалось это слово и в белорусских говорах. Деревня Недведь и сегодня существует в Климовичском районе Могилевской области. Выходцы из этого или другого существовавшего в прошлом одноименного селения сегодня носят соответствующие фамилии. А обладатели редчайшей и такой, на первый взгляд, загадочной фамилии, как Недзведзев, в общемто, однофамильцы коренным русским Медведевым.

Рагуткин, Рогуткин, Рагутин, Рогутин. Слово рогутка в говорах означало "соха". Кроме того, рогута — в белорусских и украинских говорах — "бык", "корова". В "акающих" говорах это имя произносилось, а значит, могло быть и записано как Рагута, Рагутка. В Курских таможенных книгах упоминаются под 1656 годом Савелий Рогуткин, а позднее его сын Родион Савельев Рогуткин, курские посадские люди.

Скляднев. В Словаре русских народных говоров прозвище Склядень не зафиксировано. Но, еще в XIX веке во владимирских говорах бытовали прозвища Скляд и Склядь — скупой человек. Вероятно, и прозвище Склядень имело то же значение. В пользу этого говорит и тот факт, что Склядневы — выходцы из Суздаля. А о том, что такая форма образования прозвищ не была редкостью, напоминает существование других, тоже весьма неодобрительных, прозвищ, образованных по этой схеме: Увалень, Баловень, Сидень, Дурень и др.

Сугаков, Сугак. Сугак в украинском и белорусском языках – плоское костяное шило, применяемое для изготовления лаптей. Но в этих же говорах так называли еще и сайгака (в XVII–XVIII вв. сайгаки были известны даже жителям степного Прикарпатья), а в применении к человеку – быстрого, бойкого мужчину. Популярным было и мирское имя Сугак. Например, в грамоте 1487 года упоминается Сугак Биликович, боярин; в 1565 г. – Пан Сугак (Suhak), хмельницкий мещанин и Hanko Suhak, барский крестьянин. В "Реестре Войска Запорожского" (1649 г.) записаны: Грынец Сугак, казак Черкасского полка; Степан

Федорович Сугак, казак Уманского полка; Ярема Сугак, казак Кальницкого полка; Иван Сугак и Данило Сугак, казаки Переяславского полка. До сегодняшних дней в Винницкой области сохранилось селение с названием Сугаки.

Тыклин, Тыквин. Слово *тыква* издревле существует во всех славянских языках. И произносится всюду практически одинаково. Поэтому мирское имя или прозвище *Тыква* (например, большеголового или тучного человека) в прошлом могло встречаться во многих землях. Потомки *Тыквы* сегодня носят фамилию *Тыквины*. Но в донских говорах и в говорах уральских казаков это название произносилось как *тыкла*: отсюда и возникла фамилия *Тыклин*.

Узерцов. По словам семьи Узерцовых, их предок из Курской области. Вероятно, основу имени следует искать в украинском языке, где и сегодня существуют слова взір и взірец, означающие "образец, пример". В украинских диалектах слово взір встречается и в форме узір. Поэтому и прозвище Взірец в прошлом могло произноситься как Узірец. О том, что эти значения могли стать основой личного имени Узерец, напоминает распространенность "родственной" фамилии Образцов. В русских же говорах это прозвище логично превратилось в Узерец: в юго-западных областях России, где проживает большое число выходцев из украинских земель, бытовавшие в их среде украинские прозвища со временем были изменены в соответствии с нормами русского языка. Справедливости ради, следует напомнить, что и в русском языке в прошлом существовали слова с такой основой. Например, узерка (от глагола узреть, т.е. "усмотреть, увидеть, углядеть"). Узеркой называли охоту на зайцев поздней осенью без собак, когда их отыскивали глазами на еще не покрытой снегом земле. Быть может, и в русских говорах существовало "местное" прозвище Узерец. Так могли, например, прозвать рачительного, "образцового" хозяина, необычайно зоркого человека или страстного охотника.

Чайников. Популярное сегодня прозвище чайник (в значении "неумеха", "начинающий") к этой фамилии никакого отношения не имеет. Более того, и сосуд, используемый для кипячения воды, может быть лишь отдаленным "тёзкой". Конечно, Чайником могли прозвать грузного, пузатого мужчину. Но, вероятнее всего, популярность фамилии Чайников связана с тем, что прозвище Чайник в определенный период было указанием на профессию — торговец чаем. По свидетельству историков, чай, привозимый из Китая (из китайского же языка было заимствовано и название), появился на Руси уже в середине XVII века и первое время рекомендовался даже как лекарственне растение (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного рус-

ского языка. М., 1999). Поскольку телевидения в те времена еще не существовало, то "продвижению товара" могли способствовать лишь активные его распространители, т.е. купцы-чайники. Такое название торговца новым для России товаром, т.е. чаем – вполне соответствует русской традиции. Например, поставщики хрена издавна именовались хренниками, масла – масленниками или по-украински – олейниками, те, кто торговал всякой-всячиной с "коробов" – коробейниками, с "лотков" – лоточниками и т.п.

Чадромцев. Эта фамилия напоминает о том, что ее носители – потомки выходца из *Чадромской* волости бывшей Вологодской губернии или из самой деревни *Чадрома*, по которой волость и именовалась.

Продолжение следует

Желающие задать вопрос или предложить свои дополнения к материалам, опубликованным в этом разделе, могут воспользоваться адресом редакции, электронной почтой: dialog@familii.ru (письма отправлять с пометкой "Толковый словарь российских фамилий") или посетить сайт Исследовательского центра "История фамилии": www.familii.ru.

Топонимика

НАХАБИНО

© Р. А. АГЕЕВА, А. Л. ШИЛОВ

Это название носит поселок Красногорского района Московской области на реке Нахабинка – левом притоке Истры.

С.Б. Веселовский установил, что в XV веке Нахабино было крупной вотчиной боярского рода Плещеевых: им владел Борис Данилович Плещеев, затем его сын Михаил Борисович, а после его смерти – Иван Михайлович Плещеев, который под именем Иона постригся в Троице-Сергиевом монастыре и по духовному завещанию в 1482 году часть своих владений отдал сразу монастырю. Нахабино же он завещал в пожизненное владение своей матери, но после ее смерти оно должно быть передано монастырю. Племянники Ивана Михайловича выкупили Нахабино у Троице-Сергиева монастыря и уступили его своему дяде — Петру Михайловичу Плещееву. Последний по духовной грамоте 1510 года передал село своему сыну Василию, а тот в 1518 году продал его тому же Троицкому монастырю (Веселовский С.Б. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. М.—Л., 1936; Он же. Подмосковье в древности. Три очерка. М., 2002).

С.Б. Веселовский не привел ссылок на ранние документы, относящиеся к данному владению (не нашли их и мы), вплоть до духовной 1482 года Ивана Михайловича Плещеева. В ней названо село Нахабинское з деревнями и с пустошми (Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1952. Т. 1.; далее – АСЭИ).

В разъезжей грамоте 1504 года Ивана III с его сыном Юрием Ивановичем названа волость Нахабинская (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М.—Л., 1950). В разъезжей грамоте 1518/19 годов названо Нахабинское село (Акты Российского государства. Архивы московских монастырей и соборов XV—начала XVII в. М., 1998). Такое же название и в разъезжей 1542 года.

В летописях Нахабино впервые упоминается под 1533 годом при описании поездки великого князя Василия Ивановича из Троицкого монастыря на Волок Ламский. При этом, в Постниковском летописце названо село Нахабна, а в Александро-Невской летописи — Нахабное село (Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 32; 1965. Т. 29).

В Писцовой книге 1573 года село названо *Нахабино*. С тех пор и до настоящего времени форма названия не менялась (Поспелов Е.М. Топонимический словарь Московской области. М., 2000).

Было высказано предположение, что название *Нахабино* происходит от личного именования, т.е. прозвища или фамилии, как например *Беляй Нахабин*, 1570 год (Веселовский С.Б. Ономастикон. М., 1974). В.И. Даль приводил *нахаба* (курск., ворон.) "нахал, навязчивый человек", а также "беда, забота, неприятность". Такого же мнения о происхождении названия придерживался и В.А. Никонов (Словарь русских фамилий. М., 1993).

Однако, опираясь на ранние формы названия села, Е.М. Поспелов заключил, что оно скорее происходит от названия реки, на которой возникло. Форма *Нахабино* — позднейшее переосмысление названия села (ныне поселка) по отантропонимному типу словообразования.

Впервые река Нахабна названа в уже упомянутом документе 1504 года (так же и в грамоте 1518/19 г.). В Писцовой книге 1573 года она названа Нахабенка, на планах XVII века обозначена как Нахабня, при том, что село обозначено как Нахабино (Кусов В.С. Чертежи Земли Русской XVI—XVII вв. М., 1993). В более же поздних источниках она называется Нахабинка, т.е. название реки подверглось расподоблению с названием стоящего на ней селения с приобретением гидронимом уменьшительного суффикса (ср. Тверь—Тверца, Олонец—Олонка, Орел—Орлик и др.). Следует отметить, что на картах XX века допущена досадная и несправедливая ошибка. Река Нахабинка (Нахабня), протекающая через пос. Нахабино, имеет правым притоком речку Грязливую (в некоторых документах — Грязивая). Но ныне на картах основной рекой (притоком Истры) показана река Грязёва, Нахабинка же показана ее притоком, который через поселок Нахабино не протекает (Соколова О. Название нашего поселка Нахабино. Нахабино, 2003).

Наиболее существенным аргументом для выведения имени поселения из гидронима, но никак не наоборот, нам видится следующий факт. Согласно каталогу Г.П. Смолицкой (Гидронимия бассейна Оки. М., 1976), в Поочье имеется, кроме "нашей" Нахабинки, еще шесть рек с таким же или близким названием, при том, что селений с аналогичными названиями на указанных реках нет. Вот перечень этих рек (в квадратные скобки заключены добавления и комментарии к данным Смолицкой):

- Нахабна приток Железни, левого притока Оки ниже Калуги;
- *Нахабня* левый приток Оки несколько выше Тарусы;
- *Нахабна* (*Нахавна* на Планах Генерального межевания второй пол. XVIII в.) приток Тростни, левого притока Озерны, которая является левым притоком Москвы;
- Нахабинка (Нахабня в Писцовой книге 1573 г.; в позднейших источниках также Охабенка, Ахабенка, Хабиная, Хобня) [на совре-

менных картах *Хабня*] — правый приток Озерны, левого притока Москвы.

— Нахабня — правый приток Москвы чуть ниже Звенигорода по каталогу 1926 года. Впервые названа как Нахабна в жалованной грамоте 1404 года (за 100 лет до "нашей" Нахабни!) звенигородского князя Юрия Дмитриевича Савво-Сторожевскому монастырю (АСЭИ. 1964. Т. 3). В географическом указателе к данному изданию эта река ошибочно указана как левый приток Истры, т.е. соотнесена с наиболее известной — "нашей" Нахабней. Однако надежно локализуемые географические пункты соответствующего документа (реки Инева и Нара, Дмитреевая слободка, ныне с. Дмитровское) однозначно указывают на ошибочность такой трактовки. Как установлено О.Н. Соколовой (Указ. соч.), в XVIII веке река называлась Нахабинка; на современных картах — Нахавня или Наховня с притоком Нахабинка, который на ранних картах показывался безымянным ручьем).

— Нахабинка — правый приток Осетра, правого притока Оки. Впервые названа как Нахабна в грамоте 1506 года (АСЭИ. Т. 3). В "Правой грамоте о спорной земле" 1529 года название встречается как в форме Нахабна, так и Нахабенка; там же видим топоним Нахабенские верха (Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край. М., 1978).

Нам не известны названия типа *Нахабна* в других районах России, так что их ареал можно считать строго локализованным именно в Среднем Поочье, преимущественно – на территории запада Московской области.

Каково же происхождение речного имени *Нахабна/Нахабня*? Сразу скажем, что оно не может быть выведено ни из балтских, ни из финских языков и является, скорее всего, славянским. Более того, географическая локализация рек с подобными названиями заставляет предполагать, что они были даны летописными вятичами, пришедшими, согласно Начальной летописи, "от ляхов", и заселившими Подмосковье, судя по археологическим данным, с юго-запада — со стороны Оки. Следовательно, названия эти появились весьма рано и могли возникнуть на основе устаревшей или диалектной лексики, непонятной позднейшему славянскому населению, отчего часть из них впоследствии и подверглась значительным искажениям (*Наховня/Нахавня*, *Охабинка/Хабиная/Хабня/Хобня*).

Но что значит название *Нахабня*? Прежде всего, отметим, что оно принадлежит исключительно малым рекам и оформлено суффиксом краткого прилагательного -на/-ня, типичным для славянских названий рек. Они давались по прибрежной растительности, грунту ложа реки или берегов, свойствам воды, характеру течения реки, или, наконец, – по значению реки в хозяйственной деятельности человека. Вот несколько примеров: Гвоздня (кривичское *гвозд – лес (Шилов А.Л.

Битца и Гвоздянка // Русская речь. 2002. № 6)), Ситня (сита – камыш, тростник), Липня, Алешня (диал. алех, олех — ольховые заросли), Мошна (мох — болото), Болотня; Опочня (опока — известняк, мягкий камень), Песочна, Песочня, Гнильня (гнила — глина); Мутня, Пресня (пресный — вкусный); Озерна, Островня, Локотня (локоть — изгиб реки); Волошня, Переволочна (волок, волочить, переволакивать), Всходня, Сходня.

За вычетом этого суффикса, остается топооснова нахаб-. В ней потенциально можно выделить приставку на- и корень -хаб-. Возможность такого деления подтверждается тем, что в народной гидрографической номенклатуре известны термины, потенциально объединяемые наличием корневого элемента -хаб-. Для выяснения значения лексической основы предполагаемого географического апеллятива *нахаб мы и привлечем эти географические термины и укажем соответствующие топонимы: захаб, захабина "болото, заросшее озеро; заливной луг, покос; небольшой залив" (Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1999. Т. 1). Слово захаб и его производные захаба, захабец, захабина, захабинка, захабчик в русских говорах имеет много значений (Словарь русских народных говоров. Л., Вып. 11), в том числе: "маленький заливчик" (псковское); "лужок, вклинившийся в поле" (псковское), "обрывистый берег, подмытый рекой" (пермское). Ареал лексемы – Псковская, Новгородская, Архангельская, Вологодская области, Урал, т.е. Русский Северо-Запад и Север. Эти данные дополняются "Словарем русских говоров Карелии и сопредельных областей" (СПб., Т. 2; далее – СРГК): захаб "яма" (Подпорожье), захабина "заводь, непроточное место в излучине реки" (Лодейное Поле, Медвежьегорск, Вытегра), "небольшая поляна недалеко от покоса" (Вытегра), захабинка "низменное болотистое место в лесу (у болота)" (Подпорожье), "глухое, далекое место" (Кириши).

Известен диалектный (псковский) термин захаб "пристрой к риге, к овину, для хлеба в снопах, для соломы" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. І). В "Словаре русского языка ХІ—ХVІІ вв." (М., 1978. Вып. 5) приводятся выдержки из документов XV—XVII веков, относящихся к псковско-новгородской округе и содержащих существительные захаб, захабень и прилагательное захабный. Захаб трактуется как помещение для хранения чего-либо. Однако контекст документов указывает скорее на значение "особая (крайняя) часть крепости, строения", что согласуется как со значением слова захабцы "выступающие за текстовую часть книги края переплета" (опять-таки, вопреки трактовке, данной в Словаре), так и со значением термина охабень "предместье города, слободка, все поселение вне стены, городьбы" (Даль. Т. ІІ). В СРГК приводятся захаб, захабинка "выемка, паз, углубление" (Каргополь, Медвежьегорск) и захабина "выемка (карман) внутри русской печи сбоку от ее устья" (Вы

тегда, Каргополь, Подпорожье), откуда явно происходит средневепсское (Пяжозеро Бабаевского р-на, Шимозеро Вытегорск. р-на Вологодск. обл.) *zahab* "зарубка, зазубрина" (Зайцева М.И., Муллонен М.И. Словарь вепсского языка. Л., 1972).

Сопоставление с терминами, имеющими "негеографическое" значение позволяет предложить следующую исходную их семантику: "нечто, находящееся сбоку (или в стороне) от основного предмета, объекта". Топонимы с лексической основой захаб нами пока не обнаружены.

Для выяснения значения лексической основы нахаб привлечем другие апеллятивы с родственным корнем хаб-: охаб (укр.) "лужа, болото, старица", ochab (польск.) "болото", ахаба (бел.) "лужа, болото; староречье" (Мурзаев. Указ. соч. Т. 1). С лексемой охаб связано ее производное охабень. Данный термин присутствует в основах гидронимов на Украине: Охаба, левый приток Свира, левого притока Днестра в Ивано-Франковской области; Ochaba (из "Словаря географических названий Королевства Польского"); Охава, Ochawa (басс. Дона), Охаба (из "Ономастической картотеки" Ин-та языкознания АН УССР; Словник гідронімів України. Київ, 1979).

Возможно, сюда же относится название Охобня (Ахобня) – село Мядельского района Белоруссии (Жучкевич В.А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974); прихаб "пойменный болотистый луг в долине Днепра" (сюда явно не относится другой термин: прихабы "самовольная запашка, захваченная земля"; Прихабы в Псковской области; три села Прихабы в Белоруссии (Там же); топонимы с гидронимическим термином прихаб нам не известны; хабина "речной рукав, речной залив" (Мурзаев. Указ соч.). Другие значения этой лексемы в славянских языках связаны с понятиями "прут", "вет-ка", "хворост", "заросли", "кустарник" и т.п. Думается, что не без влия-ния этого термина возник вариант названия Озернинской Нахабинки – Хабиная. Гидронимы с основой *chab-/chob*-, по-видимому, того же корня, что и русское хабина, зафиксированы в гидронимии западнославянских областей, ср. в бассейне Вислы Chabka (Chopka) и в бассейне Одры реки Chabowa, Chobianka и озера Chabsko Mate, Chabskie Wielkie, Chobenicki (Chobenickie). Сюда же предположительно отнесем и Хобное – село Калинковичского района Белоруссии (Жучкевич. Указ. соч.); хобот – лексема, этимологически связанная с корнем хаб-/хоб-. Наряду со значением "хворост", в славянских языках мы находим географические термины: хобот (русск.) "залив, узкая полоска пруда", "узкая полоска (земли, леса, воды и т.п.)", "изгиб, кривой мыс" (арханг.), "излучина, извилина реки", "окольный путь, крюк"; па chobote (чешск.) "на отшибе, в стороне (от селения)" (Этимологический словарь славянских языков. М., 1981. Вып. 8; далее — ЭССЯ) chobot (чешск., слвц.) "бухта, залив, губа" (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. IV), Э.М. Мурзаев приводил хобот, хоботило, хоботина в значениях "изгиб, излучина реки; кривой изогнутый мыс или коса" (Север). В топонимии отмечены — населенный пункт Хобот в Архангельской области (Мурзаев. Указ. соч.) и Хоботы в Белоруссии, а также гидронимы в западнославянских областях — реки Chobot (в бассейнах Вислы и Одры), пруд Chobot.

С корнем -хаб- связано, конечно, и общерусское литературное слово ухаб, но оно не имеет значения географического термина и не представлено поэтому в топонимии. Ухаб с производными — ухабина, ухабец, ухабик и др. "впадина, выбоина по зимней дороге, или по летней, в распутицу: шибель, нырок" (Даль. Т. IV). В белорусском языке ухаба, ухаб "ямка на разбитой дороге" (Яшкін І. Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Мінск, 1971). В украинском языке (Сумская обл.) ухаб, ухаба, ухабина означают "яма на дороге; яма, наполненная водой" (Черепанова Е.А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья. Сумы, 1984).

Как видно, указанные нами местные географические термины отражены в немногочисленных гидронимах и существуют сейчас лишь в отдельных областях севера и северо-запада России. Параллели к этим названиям скудно представлены в западнославянской языковой области. Один лишь загадочный апеллятив *нахаб застрял островком в Подмосковье — в земле вятичей, да и то не употребляется в живой русской речи, бытуя в "окаменелом" виде в составе нескольких гидронимов.

Но каково же его значение? На основании ряда уже приведенных данных Е.М. Поспелов предполагает, что термин нахаб мог быть связан со значением водности, сырости. На плане села Нахабино 1768 года действительно отмечено болото (Соколова. Указ. соч.); ср. и название притока Нахабни – Грязливая, в некоторых источниках – Грязовица.

Мы же отметим, что семантической доминантой приведенных гидронимических терминов является, скорее, не просто наличие сырости, но — образования (наличия) некоего объекта вблизи (сбоку) от реки, как бывшей (или временной) ее части — идея выемки (в ландшафте), или непрямого пути. На это, между прочим, указывают и разные, на первый взгляд, значения термина захаб и охабень ("географические" и "хозяйственные", см. ранее).

Казалось бы, мы не вправе априори предполагать близкое (или даже идентичное) значение терминов, имеющих общий корень, но оформленных разными префиксами, с реконструируемым *нахаб. Для сравнения приведем слова с корневым элементом -ток-: от корня -ток- (от течь) образованы литературные и технические термины по-ток, приток, исток, а также местные географические термины по-точина "русло, овраг, родник", нетека (нетеча) "речка со слабым те-

чением", межтоки (в топонимии часто Мещоки) "протоки меж озер или соседних рек", растока "раздвоение реки", сутоки "место слияния двух рек", оток (> Оточка) и обыток/обиток "остров" (откуда Обиточка, Обытка, Обитца) и др.

Однако фактом является близкое значение терминов хабина, захаб, охаб, прихаб. Обратим внимание и на то, что области бытования соответствующих терминов в целом не пересекаются как между собой, так и с ареалом гидронимов Haxabha. Таким образом, можно полагать, что одна и та же идея (географическое понятие) могла быть выражена в разных областях славянского мира на основе одной и той же исходной лексемы, но – с помощью разных словообразовательных элементов. Эти элементы модифицировали семантику, присущую корню -ха $bar{a}$ -, не кардинально (и различно в каждом конкретном случае), но лишь – вводя его в сферу местной географической терминологии.

На этом (признание былого существования восточнославянского диалектного термина *нахаб) вопрос о происхождении речных названий Hахабия, Hахабинка, вообще говоря, можно считать исчерпанным. Но хотелось бы прояснить истоки самого этого термина, для чего необходимо обратиться к исходной семантике корневого элемента -хаб-.

Э.М. Мурзаев указывал, что термины захаб, охаб связывают с хабити "портить" через промежуточные значения "негодная для посева земля" — "болотистая земля" — "болото". М. Фасмер приводил, как омонимы, хабить "портить" и хабить "хватать, загребать" (Фасмер. Указ. соч.). С другой стороны, хабина (укр.) "прут, хворостина", хабинка "кустарник"; ochab (польск.) "болото" позволяют связать, в порядке предположения, корень -хаб- (в составе гидронимических терминов) со значениями: "гнуть", "изогнутое место" \rightarrow "изгиб реки", "заводь" \rightarrow "заболоченный водоем" \rightarrow "болото".

"Этимологический словарь славянских языков" (Вып. 8) дает славянские *хаbа "ущерб, вред" с примерами, характеризующими объект номинации как слабый, убогий, старый; *хаbati "портить", *хаbina "толстая розга, прут, метла, отломленная ветка, хворостина" (здесь же приводится и русск. диал. хабина "речной рукав, заводь"); наконец — *хаbiti "портить, вредить, губить, делать впустую" при древнерусском, русскоцерковнославянском хабити "отвергать", русское хабить "хапать, хватать, захватывать".

Нам, в свете всего сказанного, представляется наиболее логичным связать гидронимную основу -хаб- (отразившуюся и в реконструируемом термине *нахаб) с русским охабить, хабить, древнерусским охабити "отстранять, устранять, удалять, отвергать, убирать с дороги". Лаврентьевская летопись под 968 годом пишет: "Ты княже чюжея земли ищеши и блюдеши а своея ся охабив"; под 988 годом: "Аще где

пристанеть (идол Перуна. – Авт.) и вы то отръваите его от берега. Дондеже пороги проидеть то тогда охабитеся его" (Полное собрание русских летописей. М., 2000. Т. 1); берестяная грамота конца XI в.: "... тыбъ хаблю..." (Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995). В комментарии связывается с хабити "отвергать", хабитися "оставлять, воздерживаться, уклоняться", охабитися "оставить, покинуть, прекратить, воздержаться". В принципе, семантически это может быть связано и с *хаб- "слабый, убогий, старый", т.е. ненужный, игнорируемый, устраняемый, отбрасываемый за ненадобностью: исчезающий.

Понятие оставления, отбрасывания, покидания (для реки – прежнего или временного русла), воплощенное в соответствующих терминах, означающих боковую протоку или старицу, речной залив, заливной луг, приречное болото, находит аналогии в некоторых терминах нерусского происхождения (тем самым, претендуя на роль некой топонимической универсалии). Типологическое сходство проглядывается при сравнении с северным диалектным курья "речной залив, заводь; узкий проток реки; пересохшая часть реки; цепь озерков в старице; залив реки без течения, глухой проток", для которого предполагается происхождение из финно-угорского слова, родственного с финским kuri "направление, сторона", саамское kuorjeD "двигаться боком, стороной, удаляться, отделяться" (Шилов А.Л. К происхождению гидронимических терминов курья, пудас, режма // Русская диалектная этимология. Третье научное совещание 21–23 октября 1999 г. Тезисы докладов и сообщений. Екатеринбург, 1999).

При возникновении термина *нахаб (коль скоро он обозначал старицу, речной залив, прибрежное болото) могло метафорически сработать и понятие слабости или старости (см.: ранее семантику славянских терминов с корнем -хаб-) в отношении участка реки с низменными берегами, заливаемыми в половодье, в результате чего образовывались болотца, старицы (т.е. участки былого течения реки), для сравнения приведем русское старица (от старый) и карельское kulujogi, vanhajogi "старица реки", дословно же "изношенная река, старая река".

Так, или иначе, но названия рек Нахабна, Нахабня могут опреде-

Так, или иначе, но названия рек *Нахабна*, *Нахабня* могут определенно считаться специфически вятичским языковым наследием (доселе собственно вятичских типов гидронимов надежно было выявлено очень мало).

Топонимика

Понятие географической и гидрографической терминологии

© О. В. ЛАГУТИНА

Местные географические термины являются особым пластом лексики, отличающимся от терминологии в традиционном понимании. Слово *термин* происходит от латинского *terminus*, что значит "граница, предел". Таким образом, *термин* это слово или сочетание слов, обозначающее понятие специальной области знания, науки, техники, искусства и т.д. (Энциклопедия "Русский язык". М., 1977). Подобным же образом объясняет значение данного слова и Большой толковый словарь русского языка (СПб., 2003).

Из различных признаков, характеризующих термин, наиболее важным и существенным является однозначность в пределах своего поля, т.е. терминологии какой-либо науки, дисциплины и т.п.

До сих пор не найдено полного и точного определения для местного географического термина, но вместе с тем существует много высказываний на этот счет. Так, к примеру, Н.В. Подольская считала, что основной функцией географического термина является называние разновидностей географических объектов, а народный географический, или местный термин она определяла, как "слово диалектной апеллятивной лексики, обозначающее разновидность географической реалии" (Подольская Н.В. Народные географические термины в роли терминов научных // Вопросы географии. М., 1970. Сб. 81; Она же. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1970).

В ряду местных географических терминов особое место занимает народная гидрографическая терминология, служащая для обозначения различных водных объектов: исток, верх, ерик, ерек, лиман, гирло, проток, протока, затон и т.п.

Поскольку гидрографическая лексика — часть местного географического термина, то она обладает теми же основными признаками и функциями, что и терминология географическая.

Однако есть и существенные различия между географической и гидрографической терминологиями. Последняя, в отличие от географической, легче онимизируется (т.е. переходит в имена собственные) и дольше сохраняется в языке. Благодаря этому она содержит в себе большую культурно-историческую информацию. Местный географический термин проживает длительную историю, прежде чем стано-

вится именем собственным. По мнению В.А. Никонова, и в пространстве, и во времени имя собственное и нарицательное далеко не совпадают (Никонов В.А. Ручей–ключ–колодезь–криница–родник // Материалы и исследования по русской диалектологии. М., 1960).

Прежде чем стать топонимом, термин проживает целую жизнь как имя нарицательное. Лишь в определенные периоды он становится названием. Например, овраг *Лоск*, колодезь *Ржавец* (Писцовые книги Московского государства XVI—XVII вв. Тульский уезд, 1212), ручей *Сухой верх* (Орл. уезд), речка *Колодезь Мерзлый* (Тул. уезд, 1195). По данным Г.П. Смолицкой, в образовании гидронимов Поочья участвует свыше ста местных географических терминов (Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976; далее – ГБО). Э.М. Мурзаев называл географические апеллятивы (термины) "основой топонимии". Е.С. Отин, исследующий ареалы славянских гидрографических терминов в топонимии Подонья, высоко оценивает их роль в образовании географических названий. В своих статьях ученый не раз упоминает о том, что географические термины принимают активное участие в формировании топонимических систем, особенно на начальных этапах их становления. В различных источниках ученым зафиксировано около 150 местных географических терминов, отразившихся в топонимии Подонья.

Более того, у топонимистов существует мнение, что "темные" названия больших рек — это гидрографический термин река на языке местного населения, воспринимаемый пришельцами как название реки: Дон, Волга, Енисей и др. Не случайно расселение народов, направление их движения исследователи изучают по гидронимам, в основе которых лежат гидрографические термины.

Местный географический термин интересен и важен, так как он дает название водному объекту, а тот в свою очередь называет другие объекты, например: Дон – от иранского слова *danu> "вода", "река" – реки Дон, Донок, Донец, города Задонск, Донков (совр. Данков), населенные пункты Донские Избищи, Донское, Донская Носачевка и т.д. Как видим, термин, "давший свое имя реке", послужил основой для новых топонимов.

В этой связи рассмотрим несколько из них:

Лебедянь – город в Липецкой области, названный по реке Лебедянь (совр. Лебедянка), при впадении которой в Дон он и основан. Одни исследователи считают, что это название расшифровывается как "лебединое озеро", в подтверждение приводят пример из источника XVII века о наличии в данной местности Лебединого озера (Отин Е.С. Лебедянь // Русская ономастика России. М., 1994). Другие говорят о том, что гидронимы на -ань, как правило, отражают какое-то качество, свойство самого объекта, а не его отношение к другому, в данном случае к лебедям. Есть основание видеть в названии Лебедянь отра-

женное праславянское *lebetati/*lebststi, представленное, например, в сербохорватском lebetati – "качаться, раскачиваться, колыхаться" или "дрожать, подрагивать, трястись" и т.п. (Этимологический словарь славянских языков. Вып. 14; далее — ЭССЯ). Название относилось к речке, имеющей зыбкую, слегка волнистую, как бы дрожащую, колыхающуюся поверхность. Впоследствии оно перешло на селение, возникшее на ее берегу (Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России. М., 2002; далее ТСЦР).

Старица – гидроним, в основе которого термин старица – "старое, покинутое русло реки": город Старица в Тверской области, князья Старицкие.

Упа — название реки, правый приток Оки в Тульской области. В основе балтийский термин ире — "река, ручей": Лиелупе, Питерупе: притоки Упы — Упица, Упка, Уперта (Уперт, Уперть), овраг Упской, деревня Прудовая, Упертовка тож и др.

Жегуля — название, в основе которого лежит термин жигуля — "узкий и маловодный ерик, проток, старое русло"; термин связан с глаголами, обозначающими быстрое движение, — жигать, джигать — "быстро двигаться, метаться" (Словарь русских народных говоров. Л., 1972. Вып. 89; далее — СРНГ).

В районе устья Северского Донца есть Донская Жегуля (в памятниках существует вариант Жогуля), с двух сторон обтекающая станицу Кочетковскую. В верхнем левобережном Поочье отмечен верх Жегулин. Пустошь Жегулы с одноименной деревней зафиксированы в одной из рязанских Писцовых книг XVI века: "дано ему ис порозших земель жеребей пустоши Жегул". Е.С. Отин не исключает того, что именно эта лексема лежит в основе названия Жигулевских гор. Ученый считает, что если допустить именование известной петли Волги в районе Жигулевских гор (Самарская лука) жигуля (русло Волги здесь сужается, течение становится более стремительным), то историю образования топонима Жигули можно представить следующим образом: Жигуля (изгиб Волги) — Жигули — название села на Жигуле. Форма множественного числа выполняла здесь топонимообразующую функцию, а также служила расподоблению с омонимичным названием речной извилины). Жигулевские горы (возвышенный правый берег Волги имеет несколько горных массивов, получивших свои названия от лежащих между ними селений или урочищ) — Жигули; производная форма, которая относится к составному топониму так же, как Сейшелы, Каспий и т.п. к их полным формам Сейшельские острова, Каспийское море (Отин. Указ. соч.).

Широкое отражение в гидронимии получили гидрографические термины хомутец и калач, хомуток, хомутник, хомутина – "озеро, ерик, старица, русло реки, загнутое подковой" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV). В ряде случаев термин

сам становится топонимом или лежит в основе производных названий, например: Хомутец, Хомута, Хомутовец, Хомутовка, Хомуцкой, Хомутовской, Хомутов, Хомутинное, Хомутовский, Подхомутень (Смолицкая. ГБО).

В названиях озер Подонья более десяти раз отразился термин калач – "кольцеобразный речной проток, впадающий в ту же реку, откуда получил свое начало; речная излучина". Например, речка Калачик, слобода Калач и др.

Как показывают приведенные нами топонимы, местные географические термины активно пользуются словообразовательными средствами: суффиксами, приставками, сложением слов, сложением основ, присоединением определений и т.д. Они, превращаясь в топонимы, видоизменяются, т.е. если река дает свое название населенному пункту, то часто в этом случае приобретают уменьшительную (деминутивную) форму: город Tула на реке Tулице (Tулке); Kоломна - Kоломенка; Kamupa - Kamupka; Γ жель Γ желька; Mстера Γ мстерка; Oрел Γ орлик и т.д. Γ данных случаях топонимизация проходила по одной и той же схеме: название реки = название города + уменьшительный суффикс ($-\kappa$ -, -u-, u- и т.п.).

Итак, гидрографические термины проявляют активность в процессе перехода в имя собственное. Это, возможно, объясняется тем, что водные объекты имели большое значение в жизни народов. В.О. Ключевский отмечал: "По большим рекам, как главным торговым путям, сгущалось население, принимавшее наиболее деятельное участие в торговом движении, рано здесь завязавшемся; по ним возникали торговые средоточия, древнейшие русские города; <...> Речными бассейнами направлялось географическое размещение населения, а этим размещением определялось политическое значение страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны своими разносторонними направлениями рассеивали население по своим ветвям. По этим бассейнам рано обозначились различные местные группы населения, племена, на которые древняя летопись делит русское славянство ІХ-Х вв.; по ним же сложились потом политические области, земли, на которые долго делилась страна..." (Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1911. Ч. І.).

Многие гидрографические термины принадлежат к древнейшему лексическому пласту праславянского языка: они появились еще в дописьменную эпоху. Н.И. Толстой отмечал, что интерес к славянской географической терминологии возник давно, почти одновременно с первыми опытами установления и осмысления родственных связей различных славянских наречий. Он был связан с глобальной целью полнее собрать и научно освоить богатый исторический и диалектный фонд славянской лексики, способный служить одним из источников изучения и познания славянских древностей – древней славянской

материальной культуры (Толстой Н.И. Славянская географическая терминология. М., 1969). Древнерусская гидрографическая терминология впоследствии, в XIV—XV веках, в эпоху формирования русского, украинского и белорусского языков дала начало гидрографическим терминологиям этих языков.

терминологиям этих языков. Изучение гидрографической терминологии в составе общей географической терминологии важно для познания древнейших исторических судеб того или иного народа, его языка, процессов миграции и колонизации. Водные источники всегда играли значительную роль в жизни народа, являясь древнейшими путями сообщения и торговли. О.Н. Трубачев в своей книге "В поисках единства" (М., 2000) говорил о предпочтительности водных путей на Руси и во многом "гидрографическом" рисунке ее истории.

фическом" рисунке ее истории.

Если учесть, что водные объекты, как правило, хронологически устойчивы и сохраняются веками, то ценность изучения гидрографической терминологии трудно переоценить. Важно и другое: процесс номинации гидрографического объекта закреплен в языке. Историко-семантический анализ этого процесса может способствовать реконструкции древних представлений человека об окружающем мире. Географические термины, в том числе и гидрографические, играют исключительно важную роль в формировании топонимов и гидронимов. Особого внимания заслуживает тот факт, что многие из географических терминов сохранились к настоящему времени только в топонимии. В ряде случаев термин выступает в качестве ключевого слова в названии — лишь это помогает с достаточной точностью установить этимологию и семантику географического названия.

Исследователями выявлены достаточно регулярные исторические проникновения и взаимопроникновения терминологий, например, гидрографической и анатомической: устье — уста; голова — "вершина, исток реки, начало оврага"; горло — "проток, устье реки, морской пролив, узкая часть моря" и т.д. (Толстой Н.И. Указ. соч.; Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984).

Граница между термином и гидронимом в ряде случаев оказывает-

Словарь народных географических терминов. М., 1984).

Граница между термином и гидронимом в ряде случаев оказывается зыбкой и условной, причем для древнейшей эпохи соотношение между термином и названием представляется не до конца выясненным. Например, верх и название Попов верх; Оладьинский верх (Писцовые книги...). Орфография современного языка в целом нашла способ определить, поясняет ли географический термин род объекта (тогда термин пишется со строчной буквы: Старинный колодезь, Серебряный колодезь) или он употребляется в составе названия условно и не отражает географической специфики объекта — тогда этот "ложный" термин пишется с прописной буквы: речки Колодезь Мерзлый, Колодезь Гремячий, Ржавец и под. Однако есть и исключения, например, ручей Тойный верх — лексема верх в данном случае входит в со-

став названия, но пишется со строчной буквы. Определение характера термина в подобных случаях бывает крайне затруднительным.

Переход номенклатурного нарицательного термина в географическое название, например, каракум – Каракум, гобь – Гоби и напротив, превращение названия в термин: Бескиды – бескиды (укр.) "утес, гора, крутой склон"; Памир – памиры "плоские высокогорья", Дунай – дунай (укр.) "поток, разлив реки"; Прут – prut (рум.) "проточная вода", вызывает трудности в изучении гидрографической терминологии. Затрудняют классификацию терминов по гидрографическим признакам и метонимические переносы, например, колодязь не только "родник, источник", но и "ручей, река", вытекающие из родника.

Гидрографическая терминология, представленная в памятниках XI–XVII веков, указывает на то, что "терминологическое употребление слова" в некоторой степени условно, поскольку своей широтой отличается от современного строго научного понятия "гидрографический термин". Однако, учитывая, что русская естественно сложившаяся гидрографическая терминология возникла на народной основе, употребление понятия "гидрографический термин" в древнерусскую эпоху вполне допустимо, поскольку "номинативная предметная лексика в сущности является терминологической лексикой" (Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956).

Диалектный материал служит основой всякого лингвогеографического исследования, а семантика слова (термина) нередко оказывается в прямой зависимости от его географии. Диалекты — наиболее щедрый и достоверный источник для определения возможных значений географической и, в частности, гидрографической терминологии. Они дают основной материал для исследования семантических процессов, происходящих в сфере географической терминологии и во взаимодействующих с ней других терминологических сферах. В диалектах может встречаться ряд терминов (лексем), вовсе отсутствующих в литературных языках.

Следует заметить, что существует несколько аспектов изучения гидрографической терминологии. Одни предлагают анализ народной гидрографической терминологии, а другие – научной. На наш взгляд, наибольший интерес представляет первый, поскольку народная гидрографическая терминология как система в историческом плане пока не изучена.

Л.В. Щерба, обосновывая идею создания исторического словаря, придавал исключительно большое значение историко-семантическому подходу к слову. "Историческим в полном смысле этого термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не только воз-

никновение новых слов и новых значений, но и их отмирание, а также их видоизменение" (Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1940. № 3). Идеи Л.В. Щербы актуальны и при историческом изучении гидрографической терминологии. Кроме того, при диахроническом изучении гидрографической терминологии целесообразно использовать распространенное в современных историко-лексикологических исследованиях рассмотрение лексики по тематическим группам с выделением семантических групп.

Гидрографическую терминологию можно классифицировать следующим образом: 1) обозначение притоков реки и ее рукавов – ручей, ржавец, ключ, проток, протока; 2) наименования верховьев и низовьев реки – исток, устье, верховье, вершина, гирло, взголовь; 3) обозначение специфических видоизменений речного русла (меандр реки) – старица, глушица, забор, забора, лука; термины, обозначающие понятие "залив" – затон, култук, губа.

Историко-семантический подход к описанию гидрографической терминологии дает возможность показать весь комплекс значений и оттенков каждого из анализируемых терминов, позволяет проследить историю возникновения и отмирания значений, установить причины и хронологию семантических изменений и показать место каждого конкретного термина в процессе формирования языка русской географической науки. Такой подход дает возможность также определить место терминов в современном языке русской географической науки и в русском литературном языке. Учет генетически первичной семантики слова (по времени фиксации в памятниках) и связанных с ней негидрографических значений способствует осмыслению особенностей позднейшего употребления слова в функции термина.

В.В. Колесов. ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ: ОЧЕРКИ И ЭТЮДЫ

История русского языкознания – одна из самых интересных и глубинных отраслей отечественной филологии, в которой до сих пор совершаются подлинные открытия. Вместе с тем в ней немало спорных, противоречивых тенденций: ведь каждый исследователь пропускает через себя панораму развития словесного искусства, отдавая предпочтение тому или другому деятелю, направлению, концепции.

Событием в науке и учебной практике стала книга профессора Санкт-Петербургского государственного университета В.В. Колесова "История русского языкознания: Очерки и этюды", обращающая внимание читателей на многие еще пока никем не решенные проблемы "парадигмовых" исследований. Примечательно, что одна из целей, которую преследует автор, звучит так: "В широком контексте общемировоззренческих проблем, в исторической перспективе показать и результаты восточнославянской рефлексии о языке и слове, и органическую связь национальных языковедческих школ с культурными переживаниями народа" (СПб., 2003).

Эта книга в основном состоит из ранее написанных работ, разбросанных порой в малодоступных изданиях. Теперь же материалы, удачно собранные в единое целое, бесспорно, проливают свет на многие страницы истории русского языкознания. Данная работа состоит из трех частей, в хронологической последовательности излагающих этапы формирования и движения лингвистической мысли: "Развитие идеи" – "Открытие слова" – "Осмысление дела".

В первом разделе автор совместил "герменевтические подступы" к Слову с осознанием необходимости изучать его не только как знаковую систему, но и как "понятие в чувстве". Такое образное введение в предмет несколько интригует, но не отдаляет читателя от лингвистики, а позволяет самому искать и находить необычные и даже парадоксальные ракурсы на первый взгляд обычных вещей. Говоря о прошлом лингвистики, автор, в частности, резюмирует: «Морфология и синтаксис настолько разорваны, что и в голову не приходит объединить их в общую науку — грамматику; да и грамматика понимается вполне в соответствии со смыслом этого греческого слова: как учение о буквах. И только в 1619 г., когда Мелетий Смотрицкий нашел между ними то общее, что имя — оно же и подлежащее, а глагол — он же и ска-

зуемое, "правилное синтагма", стало ясно, что, совместив понятие о слове и понятие о предложении», мы получили возможность конфликтов, споров и бросания из крайности в крайность.

В.В. Колесов обоснованно концентрирует наше внимание на таких "сюжетах" филологии, которые в разное время определяли ход ее исторического развития, выдвигали и решали концептуальные задачи целого поколения ученых и нередко заглядывали далеко вперед. Так, «"морфологизм" XIX в. открыл сравнительно-исторический метод и создал научную русскую грамматику; "синтаксизм" XX в. открыл функциональный (и прочие) метод, обратив внимание на анализ текста». Все эти вопросы, отнюдь не находящиеся на периферии научных знаний и проходящие в тех или иных формах через всю систему филологической мысли, остаются и по сей день актуальными "движителями" мерила нашей оценки и ощущения языка.

Не впервые здесь ставится проблема периодизации истории рус-ского языкознания. Автор обоснованно считает, что "принципы по-знания изменяются с течением времени" – отсюда и возникают критерии, определяющие первичность или же второстепенность того или иного направления. Но везде, в любой (и российской, и зарубежной) системе координат наука, по мнению В.В. Колесова, проходит три этапа: "романтический – позитивистский – и последний, отмеченный чертами упадка, декаданса". В обозначении периодов развития отечественной лингвистики автор придерживается "классового" подхода, но вносит в известную схему более конкретную хронологическую струю. Он распределяет нашу историю на восемь этапов: "I. Донациональный период (XI–XVI вв.).

- II. Преднациональный период (конец XVI–XVII вв.). III. Национальный период (XVIII–первая четверть XIX в.).
- IV. Дворянский период развития науки (первая четверть XIX в.-70-е годы XIX в.).
- V. Капиталистический период развития науки (после 70-х годов XIX в. и до 20-х годов XX в.).
- VI. Послереволюционный период развития отечественной науки (до 50-х годов XX в.).
- VII. Послевоенный период развития науки (до 70-х годов XX в.). VIII. Современный этап развития науки (после 70-х годов XX в.; тут свои подэтапы)".
- В.В. Колесов признает, что в данной классификации "принцип терминологической номинации не соблюден", а выделение самих периодов—"вопрос сложный". Неизменным остается лишь Слово как объект лингвистического изучения: "Предмет филологии духовная культура в человеческом слове..."

Наиболее строгим и систематическим по изложению можно назвать "Развитие лингвистических идей у восточных славян эпохи

Средневековья". Автор обсуждает здесь такие ключевые эпизоды, как "риторика и поэтика текста"; "эмансипация слова"; "обобщающие грамматики" Средневековья; "развитие грамматических категорий и понятий"; "переосмысление объекта в границах естественного языка" и др. Эта часть содержит богато иллюстрированную примерами и воссозданную на основе редких рукописных находок историю лингвистической мысли Средневековья, вплоть до XVIII века – своеобразной границы старого и нового: "Собирая воедино все рассмотренные здесь особенности развития русской грамматической традиции..., мы можем сделать вывод, что к началу XVIII в. сложились все условия для создасделать вывод, что к началу XVIII в. сложились все условия для создания синтетического труда по русской грамматике: возникли также предпосылки для развития общелингвистических идей – в их противопоставлении к традиционным общефилологическим". Ученый констатирует также одно важное положение: "Основные линии развития грамматической мысли в России XIII – начала XVII в. полностью соответствуют аналогичному развитию грамматических представлений того же времени на Западе. В отличие от последних те грамматические идеи, которые опережали свое время, на Руси энергичнее подавлялись официальной наукой и религией... Тем не менее к концу XVII в. уже сложилось полное представление о языке, его функциях и категориях и были выработаны самые первые, пока еще чисто терминологические понятия и определения".

Указанные автором этапы и проблемы, на наш взгляд, важны еще и потому, что позволяют понять, как формировались языковедческие навыки у наших предков, как они ощущали присутствие словесной материи, как выражали ее дух и определяли внешние и внутренние рамки нормы. Обозначение последней как системного показателя и есть уже признак зарождающихся концептуальных взглядов и направлений, в дальнейшем развившихся в школы.

Вторая часть исследований как бы проецирует обозначенные постулаты и идеи конкретной филологической работы, показывая их на примерах жизни и деятельности лучших представителей отечественной словесности: А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, А.А. Потебни, Я.К. Грота, А.И. Соболевского, А.А. Шахматова, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Б.А. Ларина, В.В. Виноградова, М.М. Бахтина и др. При всем различии эпох, в которые творили эти люди, методов их научной деятельности и личных интересов, есть одна плоскость, сближающая столетия русской лингвистической мысли и определяющая основы ее традиции. Это – отношение к Слову: одни занимались его поисками, другие определяли его философский смысл, третьи обобщали значения, четвертые находили в нем концептуальные образы. Так или иначе, все они исходили из одного интуитивного пристрастия: через Слово – в пространство текста. В.В. Колесов начинает эту часть не случайно с имени академика А.Х. Востокова, "отрабатывавшего", по мысли автора книги, сравни-

тельно-исторический метод в исследовании языковых явлений на материале славянских языков. Именно открытие этого метода и его научное становление происходило при А.Х. Востокове и получило сильнейший импульс в своем развитии на национальной почве, а последователь академика, будущий маститый лексикограф И.И. Срезневский "несет на себе несомненные черты эпического характера". В.В. Колесов справедливо называет знаменитое детище ученого "Материалы для словаря древнерусского языка" памятником русской лексикографической традиции. Развитие сравнительно-исторического метода прослеживается далее в обзоре деятельности А.А. Потебни, которого В.В. Колесов оценивает прежде всего как звуковеда, разумно полагая, что "во второй половине XIX в. историческая фонетика стала как бы полигоном для проверки всех новых лингвистических идей и методик". По мнению В.В. Колесова, А.А. Потебня в этой части исследований "демонстрировал возможности многофункционального подхода к реконструкции праязыка". Здесь же автор проанализировал и лексико-семантические опыты ученого, стремившегося привести языковые факты в систему (это слово употребляет сам А.А. Потебня).

Во многом познавательны очерки о Я.К. Гроте, А.И. Соболевском и А.А. Шахматове. Общеизвестен вклад академика Я.К. Грота в словарное дело. Достаточно сказать, что при академике Я.К. Гроте началась работа и издание первого наиболее полного словаря русского литературного языка, но В.В. Колесов подчеркивает и другую, не менее важную заслугу ученого в оформлении современных форм бытования языка: "Всесторонне осознав принцип нормативности и признав его социальную важность, он проделал большую работу для того, чтобы сделать это открытие достоянием нации". В.В. Колесов говорит об исторических исследованиях А.И. Соболевского, отмечает влияние младограмматических идей на его научное мировоззрение, делает очень точные наблюдения в целом о нем: "А.И. Соболевский остался филологом старого типа. В конкретных своих исследованиях он поднимался выше своих современников, в теоретическом отношении он оставался позади Бодуэна де Куртенэ, А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фортунатова".

В.В. Колесов гармонично и тактично описывает творческую лабораторию легендарного А.А. Шахматова ("голубицы" – по выражению акад. Корша), считая, что его работы сложены из борьбы двух стихий – интуиции и фактов. Возможно, отсюда "его неустанный поиск нового". "За сорок лет своей исследовательской деятельности, — пишет В.В. Колесов, — он прошел путь от Фортунатова до Бодуэна, т.е. от традиционной компаративистики до исходных плацдармов современной лингвистики", слив "воедино историческое изучение сравнительных данных". Достаточно подробно автор книги разбирает акцентологические открытия А.А. Шахматова, обращает внимание на преем-

ственность современных исследований в этой области фонологических работ академика.

Третья часть книги – своеобразный эпилог, представляющий собой, с одной стороны, подведение итогов традиции отечественной лингвистики, а с другой – прогнозы на будущее: «Ложно понятые потребности времени, аляповато сформулированные как "практическое применение", "достоинство научной школы", "оригинальное направление" и проч., дезориентировали научную молодежь, уводя ее от плодотворных традиций отечественной лингвистики». В.В. Колесов говорит здесь и о таких почти забытых теперь понятиях, как "научная школа и школа науки", которые формируют личность ученого, определяют его кредо, образ мышления. Особое значение он придает санкт-петербургской школе. Этот "уклон", если так можно выразиться, обоснован. Ученый замечает: "Именно [она] еще в XVIII в. возвела слово в ранг основной единицы языка и речи. В соответствии с традициями этого века слово в контексте воспринимали здесь как структурное соединение всех языковых единиц и их функций, проявляемых в тексте. Слово, а не предложение, понималось и понимается здесь как исходный элемент живого языка, подлежащий изучению".

В целом, книга В.В. Колесова, конечно же, выходит за рамки узкой предметной специализации. Все, о чем пишет ученый, находится на пересечении разных миров, но подчинено единой задаче — воссоздать целостную картину становления русской ментальности в ее отношении к языку и слову как основной культурной ценности.

В книге читателю предстает широкая филологическая панорама, в чем-то философская, онтологическая, позволяющая рассматривать лингвистику как осмысленную отрасль гуманитарного знания со сво-им инвентарем "технических" средств и их историей.



М.Н. Панова. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО: ОПЫТ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Что представляет собой языковая личность современного чиновника? На каком языке он говорит и думает? Как сделать речевой портрет госслужащего более привлекательным? Ответы на эти вопросы можно найти в книге М.Н. Пановой "Языковая личность государственного служащего: опыт лингвометодического исследования", выпущенной издательством Российского университета дружбы народов в 2004 году.

Материалом для монографии послужил многолетний опыт общения М.Н. Пановой с работниками государственного управления в Российской академии государственной службы, где автор ведет курс русского языка и культуры речи.

Какими только эпитетами не награждали чиновничий язык писатели разных времен: обезьяний, суконный, новояз, не живой, сухой, птичий, бюрократический, выражающий суконные мысли, отраженные в резиновых резолюциях, и т.п.! Беда в том, что канцелярский жаргон проникает в массовую речь. Разве только чиновники говорят: наблюдать подвижки, озвучить точку зрения, проработать и проголосовать вопрос и мн. др. Лингвисты призывают бороться с этой напастью. Но чтобы ее одолеть, надо всесторонне ее изучить. И в этом отличным пособием может служить книга М.Н. Пановой, построенная на изучении "языкового существования" современного чиновника, его профессионально-языковой картины мира.

Языковая личность госслужащего рассматривается в работе как саморегулирующаяся система, образуемая взаимодействием факторов, обусловленных особенностями профессии, социальным стату-

сом, отражением ее образа в СМИ, в художественной литературе, в общественном мнении, а также общественно-политическим и историко-культурным контекстом.

Большое место в своей книге М.Н. Панова отводит отклонениям от нормы в устной и письменной речи чиновников. Например, перечисляются типичные произносительные ошибки. «В русском языке существует ряд слов, в которых часто произносят "лишний" звук и не пишут соответствующую букву там, где это необходимо, – заключает автор. - Такими трудными словами являются для чиновников следующие: инцидент, эскорт, интриганство, конкурентоспособность, конъюнктура, конфиденциальность, прецедент, учреждение, юрисконсульт и т.д.» (С. 207). Отдельные слова употребляются неправильно: «Например, слово утилитарный многие госслужащие используют в значении "бесполезный", а не "прикладной, имеющий прикладное значение", не различают значения слов эмигрант и иммигрант, идентичный и аутентичный, кардинальный и радикальный, паритет и приоритет, патронаж и патронат» (С. 209). Многие речевые ошибки связаны с такими явлениями, как плеоназм и тавтология: май месяц, своя автобиография, незаконные бандформирования, свободная вакансия и пр.

Особого внимания заслуживает словарь административно-политического жаргона, прилагаемый к основному тексту книги, который можно рассматривать как перечень "вредных" слов, неуместных в публичной речи.

Нельзя не согласиться с автором книги в том, что от критики речевого поведения некоторых политиков и чиновников необходимо переходить к совершенствованию языковой подготовки современных работников органов госаппарата. Их речевая культура "имеет непосредственное отношение к стилю управленческой деятельности, моральнопсихологической атмосфере в учреждении, к формированию новой культуры государственного управления, которая должна существенно отличаться от прежней, бюрократической".